



*Свет Мира. Война фей  
– крылья света и тьмы*

Александра Ушакова

Свет Мира .

Александра Ушакова

**Свет Мира. Война фей  
- крылья света и тьмы**

«Автор»

2026

**Ушакова А. А.**

Свет Мира. Война фей - крылья света и тьмы / А. А. Ушакова —  
«Автор», 2026 — (Свет Мира .)

Вторая книга эпопеи «Свет мира» переносит читателя в Империю Дарада, где император уже четырнадцать лет не спит, мечась в опочивальне с призраком "убитого" сына. Его младший — Шарит, полукровка с даром Соединения, — отправляется усмирять бунт молодых фей, но вместо этого спускается в бездну под корнями Мирового Древа, где Тьма держит украденных детей. Там он встречает фею Ириску — дочь Королевы Сильваны, в чьих жилах течёт кровь дракона. Их судьбы сплетаются в узел, который может либо спасти мир, либо открыть дорогу древнему злу. Пока герои сражаются с тенями прошлого, в подземельях Империи пробуждается новая угроза. Тьма не побеждена — она ждёт, чтобы родиться заново.

© Ушакова А. А., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| КНИГА ТРЕТЬЯ: КРЫЛЬЯ СВЕТА И ТЬМЫ | 5  |
| Пролог. Тот, кто не спит          | 5  |
| Глава 1: Бунт молодых фей         | 12 |
| Глава 2. Феи старого порядка      | 18 |
| Глава 3. Бронзовый медведь        | 29 |
| Глава 4. Сон императора           | 45 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 46 |

# **Свет Мира. Война фей - крылья света и тьмы**

## **КНИГА ТРЕТЬЯ: КРЫЛЬЯ СВЕТА И ТЬМЫ**

### **Пролог. Тот, кто не спит**

За дверьми опочивальни Императора было тихо. Впрочем, Вальтера, Царица Ночи, правительница Империи Дарада, уже давно отвыкла удивляться тишине.

Она стояла в коридоре, сплетя длинные, бледные пальцы в замок на груди. Ее волосы — цвета воронова крыла, в которые искусные эльфийские мастерицы когда-то вплели нити чистого серебра, — тяжелой, траурной волной струились по черному, расшитому приглушенными рунами платью, сливаясь с густым, почти осязаемым сумраком. Это был не просто сумрак старого замка, пропитанный сквозняками и запахом старого дерева. Это была сама Тьма, которую она носила в себе тысячелетиями, — стихия, покорная и могущественная, послушно застывшая вокруг своей госпожи, подобно верному псу, замершему в ожидании приказа.

Камень под ее ногами — древний базальт, помнивший тяжесть шагов первых драконов еще до того, как мир обрел нынешние очертания, — хранил вековой холод, который даже вампирская кровь, горячая и живучая, не могла согреть. Этот холод не был просто температурой. Он был самой памятью этого места — тяжелой, вьедливой, как дым. Памятью о крови, пролитой здесь за тысячелетия борьбы за трон; о клятвах, данных и нарушенных с легкостью, за которую более поздние эпохи казнили; о шепоте интриг, который вьелся в поры камня глубже, чем любое заклинание, плетенное из чистой, первозданной маны. Базальтовые плиты помнили тяжесть когтистых драконьих лап, звон мечей в честных поединках, когда противники сходились не на жизнь, а на смерть, и тихие, срывающиеся молитвы умирающих — все это впиталось в их кристаллическую структуру, превратив холодный камень не просто в строительный материал, а в живую летопись, высеченную в самой его сути языком боли.

Воздух здесь был спертый, плотным, пахнущим пылью веков, дорогим ладаном и чем-то еще — тем сладковатым, приторным, тошнотворным запахом бессонницы, что годами сочился из-под массивных резных дверей. Вальтера знала этот запах. Он преследовал ее четырнадцать долгих лет, с той самой ночи, когда Дарад впервые закрыл глаза и не открыл их утром — не умер, нет, но ушел туда, в бесконечную внутреннюю тьму, куда не могла последовать даже она, связанная с ним узами древнего, почти забытого ритуала. С тех пор бессонница перестала быть просто изнурительным состоянием — она стала полноправным, незримым обитателем этих покоев, вселяя душную, гнетущую тоску. Она наполняла покои, как болотный газ, тяжелый и дурманящий; она пила живой свет магических светильников, делая его тусклым, болезненным, почти мертвым. Вальтера иногда ловила себя на мысли, что запах этот имел цвет: густой, болотный, с пугающими, кровавыми прожилками отчаяния. И что он липнет к одежде, к волосам, к коже, проникая глубже любых чар, к самому нутру, отравляя душу томлением.

Она подняла тонкую, почти прозрачную в тусклом свете ладонь и вновь постучала. Три коротких, сухих, как кость, удара костяшками о резное черное дерево, в которое искуснейшие мастера-руны вплели знаки забвения и покоя. Когда-то эти руны, написанные на заре империи кровью и серебром, были способны убаюкать даже спящего бога, даровать ему вечный, безмятежный сон. Но сейчас они давно утратили свою силу, выцвели, истончились — Вальтера чувствовала это каждой клеткой своего обостренного, древнего, вампирского слуха. Магия в них истончилась, выцвела, как старая краска на солнце, как память о былом могуществе. Они больше не держали сон, не отгоняли кошмары, не защищали спящего от посягательств извне. Они просто были — выжженные на потемневшем дереве знаки надежды, которая умерла четырнадцать лет назад, оставив после себя лишь черные, обугленные шрамы. Резьба, некогда тонкая и изящная, изображавшая сцены из «Сна о Вечном Покое», — где усталые герои наконец-то обретали отдохновение в тенистых садах, — теперь выглядела как рваные, беспорядочные шрамы на лице старого, битого воина: глубокие, давно зарубцевавшиеся, но помнящие каждый нанесенный удар.

— Дорогой... — ее голос, обычно холодный и властный, как скрежет клинка о клинок при вынимании из ножен, сейчас звучал почти мягко. Почти человечно. — Ты спишь?

Ответом была лишь тишина.

Та самая тишина, что воцарилась здесь четырнадцать лет назад. Та, что поселилась в этих покоях после того, как Император проснулся, но словно бы умер для живого мира. Не стало больше ни гневных, сотрясающих древние стены рыков, ни хриплых, полных былой мощи приказов, от которых у придворных стыла кровь, ни даже тяжелых, мерных шагов — только это давящее, ватное, почти осязаемое безмолвие, в котором угасала сама надежда. Вальтера иногда ловила себя на мысли, что эта тишина — живая и злая. Она дышит, расширяя легкие, и ждет, когда можно будет выдохнуть болью. Она питается ее отчаянием, капля за каплей, год за годом. В этой тишине есть зубы, думала Вальтера, содрогаясь от внутреннего холода. Невидимые, но острые, как осколки стекла. Они медленно, с наслаждением перемалывают время, превращая его в липкую, безвкусную пыль, которая оседает на плечах тяжелым, свинцовым грузом, мешая даже просто стоять прямо, выпрямив спину.

Вальтера прижала раскрытую ладонь к холодной поверхности двери, ощущая ледяной, мертвый металл, что проникал сквозь тонкую перчатку, в которую когда-то, давным-давно, была вплетена нить их общей любви — защитный амулет, давно потерявший силу. Закрыв глаза, она позволила себе то, чего не позволяла никогда при дворе, даже в минуты самой глубокой усталости: прислушаться не изошренным ухом, вечно ловящим интриги и ложь, а нутром вампирской сути. Тем древним, первородным чутьем, что улавливало биение сердец живущих за версту, различая в этом хоре жизни отдельные, неповторимые ноты. Это чутье было старше магии, старше богов, старше первых людей. Инстинкт хищника, который чувствует добычу сквозь стены и время, помнящий еще ту далекую, смутную эпоху, когда люди молились грубо отесанным камням и голодному ветру, когда магия была дикой и не знающей границ.

Из-за двери доносилось мерное, тяжелое, прерывистое дыхание спящего дракона. И шорох.

Шуршание огромной, сухой чешуи по мраморной плитке пола. Этот звук, пугающе похожий на осенний шелест падающих листьев или на зловеющий шорох выползающей из укрытия змеиной кожи, был хуже полной, леденящей тишины. Он был бесконечным. Кто-то огромный

и некогда могучий метался там, за этими дверями, год за годом, ночь за ночью. Кто-то, кто не мог найти покоя ни в забытии сна, ни в бодрствующем кошмаре наяву. Кто-то, чья душа, израненная предательством и горячей кровью собственного сына, превратилась в вечного узника собственной непрощенной памяти. Вальтера знала, что именно видел в этом аду своего сна. Не раз и не два — сотни раз за эти четырнадцать лет, полных немого, звериного отчаяния. Дараду снилась одна и та же ночь. Ночь, когда он, Повелитель Драконов, могучий и ужасный, стоял на коленях над телом своего сына Далара, чувствуя, как остывает его еще недавно горячая плоть. Ночь, когда его рука, сжимающая рукоять меча, вошла в Далара, и горячая кровь сына брызнула ему в лицо — липкая, пахнущая железом и золотом, с агонизирующими искрами умирающей драконьей сути. Ночь, когда он, спасая одного, был вынужден убить другого, и понял — в тот самый миг, навсегда расколовший его душу, — что не было в том мгновении правильного выбора. Была только боль, разрывающая могучее сердце надвое, как раскаленный, текущий клинок, выкованный древними богами для казни.

— Дарад... — прошептала она, впервые за долгие годы назвав его по имени, забыв о титулах и придворных условностях, наедине с этой пугающей, всепожирающей тьмой.

— Шорох за дверью на миг стих.

Вальтера замерла, вцепившись побелевшими пальцами в холодную, скользкую дверную ручку. Ледяной металл обжег тонкую кожу ладони даже сквозь перчатку, но она не отнимала руки, словно это физическое прикосновение было единственной нитью, связывающей ее с мужем. Ее слух, обостренный вампирской природой до запредельных пределов, ловил малейшие колебания тяжелого, спертго воздуха за массивной, окованной железом преградой. Ей казалось, что она слышит, как бьется его сердце — огромное, древнее, драконье сердце, которое когда-то было источником жизненной силы для целой империи, а теперь стучало глухо и неровно, как барабан в руках умирающего воина, отбивающего последний, безнадежный бой. Каждый удар отдавался глухим эхом в древнем камне, в спертom воздухе, в ее собственной груди, и в этом траурном эхе было что-то от погребального звона по чему-то живому, что еще не умерло, но уже обречено.

Но тишина вновь стала ватной, безнадежной, и зловещий шорох возобновился. Круги по клетке. Бесконечные круги по собственной выжженной памяти. Бессмысленное, механическое движение, ставшее единственно возможной формой существования. Вальтера представила, как он ходит там, в одиночестве — огромный, прекрасный когда-то дракон, чья алая с золотом чешуя сверкала на ярком солнце, как расплавленный, жидкий металл. А теперь его крылья, некогда могучие и прекрасные, способные закрыть небо и навести ужас на врага, бессильно волочились по дорожному мраморному полу, оставляя на нем глубокие, траурные борозды. Когти с тихим, леденящим скрежетом царапали камень, и в этих бессмысленных, отчаянных царапинах чудились неведомые письмена на давно забытом, мертвом языке. Языке чистой, безъязыкой боли.

Вальтера медленно, словно нехотя, отступила на шаг. Ее прекрасное, бледное лицо оставалось непроницаемой маской — лишь у тонких, бледных губ залегла горькая, глубокая складка, да в глубине алых глаз, обычно холодных как полярный лед, промелькнула тень вековой, неизбывной, невыплаканной печали. Она знала: он не спит. Он не спал уже четырнадцать бесконечных лет. После того, как очнулся от коварного, почти смертельного колдовского сна, навешанного Аталар; после того, как его рука обагрилась горячей кровью собственного сына Далара, пытаясь спасти Руциуса, — Высший Дракон, некогда непобедимый, больше не мог

сомкнуть отяжелевших век. Он бодрствовал, превращая каждую ночь в бесконечное, мучительное бдение, полное самых страшных кошмаров наяву. И лишь к самому рассвету измученное, ослабевшее тело брало свое, погружая Императора в тяжелое, лихорадочное, полное судорог забытие. Но и во сне его беспокойная драконья сущность не знала покоя, заставляя огромное, чешуйчатое тело бесконечно и бесцельно кружить по огромной, пустой опочивальне, словно он пытался обогнуть саму свою невыносимую, пульсирующую боль.

Говорили, что мраморные плиты в центре зала уже до блеска протерлись под этими бесконечными, шагающими кругами — словно по ним годами водили гигантским наждаком, стирая их первозданную гладкость. Говорили, что толстые стены помнят прикосновения его острых как бритва когтей, оставивших глубокие, параллельные борозды в твердом, как сталь, камне — борозды, в которых иногда застревали рваные клочья чешуи, светящиеся в полумраке комнаты тусклым, безнадежно умирающим золотом. Говорили, что порой по ночам, когда ветер стихал и даже тени замирали, из-за закрытых дверей доносился не только бесконечный шорох, но и тихий, сдавленный, полный нечеловеческих мук вой — вой потерянного, обезумевшего от горя зверя, который забыл дорогу домой. Вальтера слышала этот вой. Дважды за четырнадцать лет. И оба раза ей казалось, что ее собственное, древнее, прошедшее через тысячелетия сердце останавливается, не в силах вынести эту чужую, но такую понятную боль. В том вое не было ничего от разумного существа — только голый, первобытный, животный ужас, только леденящее осознание собственного чудовищного падения, только отчаянный крик того, кто потерял абсолютно всё и не знает, как жить дальше с этой зияющей внутри пустотой.

Вальтера развернулась и бесшумно, как только может бесшумно двигаться древняя вампирша, чьи шаги не слышат даже чуткие эльфийские уши, пошла прочь по мрачному коридору. Ее длинный, тяжелый плащ из черного, как смола, бархата, расшитый тонкими серебряными нитями (каждая нить — застывшая в форме руны молитва, искусно вытканная эльфийскими мастерицами тысячу лет назад в день, когда она, окровавленная и усталая, стала Царицей этого холодного, жестокого мира), скользил по древнему каменному полу, не издавая ни малейшего звука. У нее была огромная Империя, раздираемая внутренними противоречиями, которую нужно было удержать от неминуемого распада. У нее был хитрый, продажный Совет, где каждый советник, словно голодный клещ, тянул одеяло на себя, мечтая о власти. У нее были Руциусы — два ее неродных, но таких любимых, таких отчаянных сына, что несли бессменную, утомительную вековую стражу у Врат, отделяющих хрупкий мир живых от вечно голодного мира мертвых. У нее была Ктора — дочь, которую она, опасаясь за ее жизнь в этом жестоком мире, вырастила холодным, расчетливым солдатом и которая, возможно, никогда не простит ей этого воровства собственного детства. У нее теперь был маленький Золотой Мальчик, чья глубокая, пугающая тьма росла с каждым днем, пугая даже ее саму, видевшую виды, и новорожденная Филір, чьи громкие, звонкие первые крики были единственной настоящей, живой музыкой в этом холодном, пропитанном ложью дворце.

А у него, за этими дверями, была только память — липкая, как смола, всепоглощающая, — и этот бесконечный, мучительный круг.

Проходя мимо огромного, стрельчатого окна, выходящего в малый, потаенный внутренний сад, она невольно остановилась. Луна — огромная, бледная, холодная и бесконечно равнодушная к людским страданиям — заливала серебристым, призрачным светом спящие кусты, превращая их в причудливые, фантастические фигуры, застывшие в вечном, неподвижном танце. Розы в этом саду, выведенные древней магией, цвели даже в лютую зимнюю стужу: их создали специально для императорской семьи, вплетая в нежные лепестки частицу вечного

лета и каплю горячей крови спящего дракона. Сейчас их тяжелые, бархатные, почти черные в лунном свете головки клонились к самой земле, отяжелевшие от холодной ночной росы. Капли влаги сверкали на лепестках, как тысячи крошечных, упавших с неба лун, отражая в себе холодную, бездонную бесконечность космоса. Внизу, в бледном, немного мертвенном свете ночного светила, она увидела одинокую, неподвижную человеческую фигуру.

Юноша сидел на краю древнего, заросшего мхом фонтана, опустив длинные босые ноги в неподвижную, черную, как сама бездна, воду. Вода в этом фонтане была не простой — её много веков назад привезли из самого глубокого горного озера Иммараль, куда даже яркие лучи полуденного солнца проникали с огромным трудом. Вода там была темной, тяжелой и ледяной; она хранила вековую память о древних ледниках, что веками сползали в нее, и о тоскливых ветрах, что гуляли над неприступными вершинами, оплакивая погибших героев. Даже отсюда, с большой высоты, Вальтера видела бронзовый, медно-рыжий отлив его длинных, немного растрепанных волос и широкие, мускулистые, по-мужски сильные плечи, доставшиеся ему от варварских племён севера, и нет в нем изящной утонченности братьев-Руциусов или опасной и хищной сути его сестры Кторы или нежности детей Иглир, а от дикой, варварской, не знающей правил крови его матери, давно погибшей матери. Вода вокруг его голени расходилась медленными, едва заметными кругами, в которых отражались далекие, чужие звезды, и казалось, что сама глубокая, безмолвная ночь замерла и сосредоточилась в этом юноше, навсегда впитавшем в себя её ледяную тишину и всеобъемлющее одиночество.

Шарит.

Младший сын императора. Самый незаметный, всеми забытый принц. Тот, чью «монолитную» нить судьбы когда-то разглядела сама Богиня Савалла, узрев в этой кажущейся пустоте не слабость, требующую защиты, а невероятную, почти пугающую, дремлющую силу — способность соединять то, что было разорвано навеки болью, временем и смертью. Способность, которая, как теперь, с леденящей ясностью понимала Вальтера, была единственным ключом к спасению этого умирающего мира — или, напротив, к его окончательной, бесповоротной гибели. Она вспомнила тот далекий, наполненный тревогой день, когда Савалла, нарушив свое вековечное молчание, впервые с момента своего заточения взглянула на новорожденного. Богиня тогда замерла, ее вечно спокойные, бездонные глаза, в которых переливались миллионы тонких, как паутина, нитей судеб, неожиданно расширились. И она прошептала голосом, похожим на едва слышный шелест ветра в кронах Мирового Древа: «Такой нити я не видела никогда. Она не рвётся под гнетом боли. Её нельзя разрезать никаким мечом. Только соединять с другими... Берегите его, люди. Или бойтесь».

Он сидел в полной, абсолютной неподвижности, задумчиво глядя на тающие отражения звёзд в чернильной, хранящей вековую память воде. И Вальтера вдруг с пугающей, почти пророческой ясностью поняла: именно этот мальчик — не великие Руциусы, не она, древняя вампирша, не надменные эльфы — является единственным, кто способен достучаться до безумного, потерянного сердца, что так безнадежно мечется там, за закрытыми дверями опочивальни. Потому что его собственное сердце, запертое в клетке вежливого одиночества, билось в беззвучном такте с отцовским. Потому что он тоже был глубоко одинок в этом холодном мире великих, неприступных братьев и вечно занятой, «приемной» мачехи. Потому что в его жилах текла не только горячая, благородная драконья кровь, но и дикая, непредсказуемая кровь северных варваров — тех, кто умел подолгу и терпеливо слушать пугающую тишину и слышать в ней голоса давно ушедших предков. И потому что только он, этот «бронзовый медвежонок», носил в себе ту самую «монолитную» нить, которая, возможно, однажды могла соеди-

нить разорванное — соединить отца с реальностью, мучительно тяжелое прошлое с неопределенным будущим, всепоглощающую Тьму с едва теплящимся Светом, саму истерзанную, расплзающуюся по швам ткань мироздания.

Вальтера еще раз, уже пристальнее, взглянула на неподвижного юношу, чья смуглая кожа отливала бронзой в холодном, безжизненном лунном свете — не золотой, как у великих Руциусов, а именно бронзовой, с тяжелым, как древний металл, медным отливом, словно его тело было отлито из наконечника древнего копья, выкованного из рухнувшего с неба метеоритного железа. И тихо, почти неслышно, чтобы не спугнуть эту хрупкую тишину, чтобы не потревожить его мысли, произнесла:

— Ты тоже не спишь, маленький дракон.

Шарит, словно услышав ее сквозь толщу камня и ночи — а может, попросту почувствовав на себе её тяжелый, гипнотический взгляд — медленно поднял голову и посмотрел прямо на окно, за которым стояла Царица Ночи. В его глазах — глубоких, темных, цвета штормового бурого моря — плескалась та же древняя, неизбывная тоска, что звучала в бесконечном, сводящем с ума шорохе драконьей чешуи за дверью отца. И еще какая-то странная, не по годам глубокая, древняя мудрость, не соответствующая его юным, почти отроческим годам. Тоска по невысказанному теплу, по материнскому прикосновению, по родному слову, которое никто не решался громко произнести — слово «сын». И еще что-то новое, доселе неведомое, чему Вальтера не находила определения. Тихая, но несгибаемая, как сталь, выкованная веками, решимость. Словно он уже знал, что ему предстоит совершить. Словно уже принял свою пугающую, тяжелую судьбу, как принимают неизлечимую, смертельную болезнь — с холодным достоинством и без пустых, бессмысленных жалоб, зная, что обратной дороги в беззаботное детство больше нет.

Он не ответил ей вслух. Просто молча смотрел, и в этом тяжелом, пронзительном взгляде было столько накопившейся, невысказанной боли, что даже Вальтера, прожившая долгую, кровавую жизнь и видевшая бесчисленное множество смертей и рождений, тысячи жестоких предательств и горьких побед, почувствовала, как в ее старой, уставшей груди что-то остро и безнадежно сжимается. Боль эта была не громкой — она была пугающе тихой, как сама вода в древнем фонтане, как холодные, равнодушные звезды над головой, как тяжелое, прерывистое дыхание спящего, но не находящего покоя леса. И от этого, от этой обманчивой тишины, она казалась еще более глубокой, более безнадежной, более вечной.

Она резко, чтобы не выдать себя, отвернулась и пошла дальше по длинному, бесконечному коридору, оставляя за своей спиной и спящего бессонным сном императора, и бодрствующего в ночи принца, и всю эту огромную, роскошную, мертвенно-холодную темницу, которую люди наивно называли «дворцом». Ее легкие, быстрые шаги были абсолютно беззвучны, но древнее, уставшее сердце колотилось гулко и тревожно — впервые за многие, многие годы, медленно, пугающе наполняясь смутной, почти запретной надеждой. Потому что в ту самую секунду, когда их взгляды на миг встретились сквозь холодное, запотевшее стекло, Вальтера вдруг поняла то, чего не понимала целых четырнадцать мучительных лет.

Дарад ждал не чуда, которое могла бы даровать магия или боги. Дарад ждал сына. Своего сына. Того, кто сможет пройти сквозь его боль.

И этот сын — не великий Руциус, не тот, кого все с придыханием называли Светом Мира и на чьих усталых плечах держалась хрупкая, как стекло, Империя, а именно он, Шарит, неловкий «бронзовый медвежонок», «полукровка», «тот, чья мать умерла при родах, так и не успев увидеть его лица», — сидел сейчас у черного, как ночь, фонтана, опустив ноги в хранящую память веков воду, и пристально смотрел на далекие, холодные звёзды, так по-детски наивно отражающиеся в ней. Смотрел и ждал. Ждал, когда его потерянный, измученный отец, наконец, позовёт его, и в этом долгожданном зове будет не властный, лишаящий воли приказ, а тихая, надрывная мольба. Ждал, когда этот несправедливый, жестокий мир перестанет нуждаться в громких героях, пожирающих друг друга за право называться великими спасителями. Ждал, когда Тьма на давно забытом севере, о которой последние годы вполголоса шептались перепуганные придворные (шептались с тех самых пор, как он себя помнил, но никто никогда не решался говорить об этом вслух — слишком страшно было признать, что обманчивый покой — лишь тонкая, как бумага, иллюзия, красивая маска, под которой уже давно, оскалившись, ждала своего часа голодная бездна), наконец-то покажет миру свое истинное, ужасающее лицо.

«Скоро, Шарит...» — тихо, мысленно подумала Вальтера, сворачивая за угол, где высокие стены были покрыты идеально гладкими, черными зеркалами, и они отражали одну лишь её, изможденную годами тревог и бессонницы, но не одинокую. «Скоро ты узнаешь, зачем на самом деле родился в этом мире. Скоро твоя уникальная, монолитная нить сплетется с другой нитью... давно оборванной, но не забытой. И тогда... тогда начнется самое главное».

Узкий, темный угловой коридор выходил на длинную северную галерею, где стены были сложены из черного, как бездна, обсидиана, отполированного до зеркального блеска тысячами тяжелого, влажного дыхания спящих драконов. В этих мрачных, всевидящих стенах, как во множестве глаз, отражалась сама Вальтера — тысяча её точных, леденящих копий, каждая из которых была чуть более размытой и далекой, чем предыдущая, уходя в бесконечную, давящую на сознание перспективу. Она знала по древним легендам, что в этих пугающих отражениях иногда можно увидеть то, чего еще нет в реальном мире. Пророчества. Предупреждения из глубин времен. Лица тех, кто еще не родился, но уже с нетерпением стучится в этот мир, требуя жизни. Сегодня она, охваченная смутной тревогой, не решилась пристально посмотреть в их бездонную глубину — слишком явственно чувствовала, что увидит там не себя, а другую. Фигуру в траурном черном, с пугающими золотыми глазами и огромными крыльями, которые несли не Свет, а леденящую душу Тьму. Ту, что терпеливо ждала своего давнего часа за пыльными Вратами, что таилась в горячей крови Золотого мальчика, что вкрадчиво шептала из зазеркалья и сладко манила в бездну, обещая покой.

Тьма ждала. Но и они теперь были готовы. По крайней мере, Вальтера, ловя отражение своего решительного взгляда в черном обсидиане, из последних сил хотела в это верить.

## Глава 1: Бунт молодых фей

Лес Предков — это не просто лес, огромный и дремучий. Это живое, дышащее, мыслящее существо, древнее самой Империи и всех ныне живущих богов. Его вековые, уходящие корнями в самое сердце мироздания деревья — это не растения в привычном, безопасном понимании смертных; это сама плоть земли, застывшая в немом, тысячелетнем сне. Плоть, помнящая те далекие, смутные времена, когда по еще мягкой, податливой земле еще не ступала тяжелая нога первого дракона. Тяжелый, густой воздух здесь пропитан древней, как мир, магией, которая видимо струится в ярких, почти осязаемых солнечных лучах, как густая, золотая, искрящаяся пыльца. И даже самые старые эльфы, чьи корни уходят в прошлое на добрых два десятка тысяч лет, чувствуют себя здесь не хозяевами, а вечно юными, благодарными гостями, пришедшими на поклон к чему-то гораздо более великому.

Но сегодня этот древний, веками не нарушаемый покой был грубо взорван изнутри. Лес Предков гудел и содрогался, как огромный, дикий, растревоженный улей, в самом сердце которого созрел тревожный, готовый к яростному вылету рой. Впрочем, для чуткого, музыкального эльфийского слуха, привыкшего к нежному шепоту листвы и торжественной тишине звездных ночей, это раздраженное гудение было скорее пронзительным, истеричным визгом — надрывным, полным юношеского, не знающего границ максимализма и дикой, необузданной, бурлящей магии, от которой у любого уважающего себя стража, даже выдавшего виды, поседевшего в битвах дракона, чинали ныть древние зубы, заложенные когда-то на века. Этот беспокойный звук, пугающе похожий на нестройный звон миллионов крошечных, хрустальных колокольчиков, проникал, казалось, сквозь саму ткань времени и мощные магические барьеры, сотрясая до самого основания древние, покрытые рунами своды Великого Чертога и заставляя безвременно опадать листву с деревьев, что помнили еще робкие, неуверенные шаги первых людей.

Листья падали не просто так, подчиняясь тяжести. Они кружились в густом, насыщенном магией воздухе, подхваченные невидимыми, но яростными вихрями возмущенной, дышащей в такт молодым сердцам магии. И в этом стремительном, полном отчаяния танце увядающей, теряющей соки листвы было что-то тревожное, похожее на древнее предзнаменование, на пророчество, написанное самой природой. Будто сам Лес Предков — этот великий, вековечный свидетель — чувствовал: грядет нечто такое, что навсегда изменит его тихую, созерцательную суть, и его нынешняя золотая безмятежность — лишь минутное, обманчивое затишье перед невиданной бурей. Листья — золотые, багряные, карминные — кружились в такт какому-то неведомому, древнему ритуалу, похожему на танец смерти, и их горестный, полный тоски шорох невольно складывался в слова на праязыке — языке, который сейчас помнили только самые старые, иссохшие эльфы, те, кто застал еще самую первую, самую страшную Войну за Врата. «Война... война... война» — повторяли, шептали, кричали без голоса листья, падая на сырую, пахнущую древностью землю и в одно мгновение превращаясь в легкий, серый, уже мертвый прах.

— Бабушка, ты совсем не понимаешь нас!

Голос, звонкий, как удар хрустального хрупкого колокольчика, звенел под тяжелыми, давящими сводами Великого Чертога — древнего, вырубленного в самом сердце исполинского ствола Мирового Древа святилища. Это место было святой святых, сакральный центр, где веками ткалась и записывалась история мира. Здесь, где каждая шершавая стена пом-

нила тихие шаги самых первых, еще незрячих эльфов, а густой, как кисель, воздух был тяжел от вековой, напитавшей даже мертвый камень мудрости, сейчас творилось невообразимое. Огромные, уходящие в полумрак своды колонны из живого, дышащего в такт чужой жизни дерева, покрытые древними рунами на языке, забытом даже капризными, переменчивыми богами, мелко и тревожно вибрировали в такт громким, взволнованным голосам молодых фей. Древняя, золотая пыльца, тысячелетиями оседавшая толстым слоем на высоких сводах и картинах прошлого, срывалась вниз сверкающими, оглушительными водопадами, оседая на разгоряченных, раскрасневшихся от спора лицах. Эта пыльца была не просто пылью — она была памятью самого мира. Каждая ее мельчайшая, невесомая крупинка хранила в себе смутный, как сон, образ того, что происходило в этом древнем зале за долгие тысячи лет: великие, пышные коронации; ужасные, кровавые войны; безутешные, долгие трауры по павшим героям; шумные, полные безудержного веселья праздники, на которые съезжались со всего континента. Сейчас она, как сама история, падала на головы спорящих, оставляя на их волосах золотые, слабо светящиеся в полумраке следы, будто само Время благословляло и проклинала их одновременно, не в силах определиться с приговором.

Стайка молодых фей, сверкая на солнце крыльями всех мыслимых и немыслимых оттенков радуги — от нежно-розовых, как лепестки утренней зари, до пронзительно-синих, как полуденное небо над океаном, — взволнованно зависла перед высоким, покрытым неувядающими цветами тронном Владычицы Лесов. Их предводительница — отчаянная, дерзкая фея с длинными, струящимися волосами цвета утренней зари, в которых запутались потревоженные живые искры, и огромными, пылающими праведным, не знающим пощады гневом глазами, — с вызовом тряхнула хорошенькой головой так, что с её трепещущих, хрупких крыльев посыпалась густая, светящаяся пыльца. Она медленно, торжественно оседала на древний, отполированный миллионами прикосновений трон, и это был не просто знак легкомысленного неповиновения — это был отчаянный вызов самой Владычице. Пыльца эта была не простой, она была особой, потаенной. Ядовитой. Не для эльфов, нет — для тех, кто посмел бы в своих темных, корыстных целях использовать ее против Закона. Это был старый, давно забытый знак протеста, который феи, помнящие былое могущество, использовали в жарких спорах с эльфами тысячелетия назад, во времена, когда простое, неосторожное слово было так же опасно, как хорошо нацеленное заклинание.

— Мы не хотим больше сидеть в вашем скучном заповеднике! Мы хотим, наконец, увидеть мир! Большой, настоящий мир! С его шумными городами, высокими дворцами, с живыми людьми и этими... как их там... драконами!

Салатария, Владычица Лесов, мать великого Руциуса и законная супруга самого Императора Дарада, медленно, с глубокой, вековой усталостью подняла тонкую, изящную руку и устало, но привычно потёрла пальцами переносицу. Жест, который она много веков назад переняла от своего вечно всем недовольного отца Тилария и который всегда означал у него одну-единственную, глубокую, вселенскую эмоцию — усталость от безграничной, бесконечной глупости молодёжи, не желающей знать истории. Её длинные, струящиеся серебряные волосы, в которых, как живые драгоценности, запутались светящиеся светлячки-хранители (каждый такой светлячок — по древней, печальной легенде, душа умершего эльфа, вернувшаяся в мир живых, чтобы добровольно служить своей госпоже, обретая тем самым покой), ярко сверкнули в ярких лучах полуденного магического света. И на одно короткое, ослепительное мгновение в её прекрасных, глубоких фиалковых глазах промелькнула зыбкая, как воспоминание, но от того не менее страшная тень её былой, почти божественной мощи — той самой, что когда-

то заставляла трепетать и обращаться в бегство целые неприятельские армии и с легкостью останавливала само вторжение всепоглощающей Тьмы у самых священных Врат.

Но сейчас эта нечеловеческая, древняя мощь была ей совершенно не нужна. Сейчас она, владычица, нуждалась лишь в терпении. В том бесконечном, годами выстраданном терпении, которое даётся не от рождения, а лишь в награду за боль — только матерям и правителям. А она была и тем, и другим с самого рождения, и этот тяжкий, двойной крест иногда казался ей неподъемным. И это терпение, многократно проверенное, прочное, как толстая, грубая кора древнего, выдавшего виды дуба, сейчас истощалось с каждым сказанным ею словом, с каждым визгливым, негодующим выкриком юной феи, с каждым вызывающим взмахом ярких, радужных крыльев, которые, казалось, откровенно насмехались над её вековой, выстраданной мудростью.

— Дитя моё, — наконец начала она усталым, но все еще способным заставить замолчать даже самую лютую бурю и заставить цвести даже мертвые, холодные камни голосом. — Ты даже не представляешь себе, что такое на самом деле «драконы». И уж тем более — что такое настоящие «люди», во всей их жадной и пугающей сложности. Драконы — это не ласковые, волшебные сказки на ночь, которые тебе в детстве в утешение шептала старая няня. Это древние существа, чья чудовищная магия способна одним лишь тяжелым, неосторожным дыханием испепелить дотла целые леса, которые мы растили веками. Их чешуя прочнее любой, самой лучшей стали, а их гнев, не знающий пощады, может длиться столетиями, переходя от отца к сыну. А люди... люди убивают не из корысти даже, а из животного, слепого и нерационального страха. Страх перед всем, чего не могут понять и взять под контроль. Из страха перед нами, перед нашей древней, не подвластной им магией. Их короткая, как вспышка, жизнь — всего лишь одно жалкое, агонизирующее мгновение, но эта мгновенная вспышка может бездумно сжечь дотла то, что мы с такой любовью и терпением растили вот уже тысячелетиями.

— Мы хотим представлять! — хором, перебивая друг друга, взвизгнули феи, и в их голосах звенела непоколебимая уверенность собственной правоты.

— Мы имеем на это полное право!

— Древний, прогневший Пакт отменён!

— Свободу феям!

Салатария устало моргнула. Последний, полный пафоса лозунг «Свободу феям!» был явно позаимствован юными мятежницами из каких-то слишком вольных, полных запретных идей песен бродячих менестрелей, которые, несмотря на строгие многовековые запреты эльфов, иногда всё же умудрялись забредать в священные пределы Леса, принося с собой пьянящий запах жареных каштанов на углях и столь опасные для неокрепших умов идеи. Она с трудом узнала этот подрывной мотив — его часто с надрывом пели в грязных, прокуренных тавернах на дальних, нищих окраинах Империи, и слова там были такие, что даже выдавшие виды, закаленные в боях солдаты поспешно затыкали уши грубой тканью и истово, с детства выученными словами начинали молиться всем известным богам, прося защиты. Она с трудом, стараясь не выдать своего раздражения, подавила тяжелый, полный вековой усталости вздох. Что эти юные, наивные, невинные создания, выросшие в тепле и безопасности под сенью великого и доброго Мирового Древа, на самом деле знают о настоящей, дикой, не знающей правил Свободе? О той самой, древней, за которую платят не медными монетами, а горячей кровью,

липким потом и горькими слезами; которую нельзя просто так, по капризному требованию, получить, как кружку пенного эля в душной, шумной таверне?

— Древний Пакт отменили не для ваших глупых развлечений, а для того, чтобы вы могли спокойно, без страха жить свободно в своих же угодьях, — с трудом сдерживая раздражение, проговорила она, тщательно подбирая слова. — А не для того, чтобы вы... — она запнулась, так и не найдя подходящего, достаточно мягкого и дипломатичного слова, и закончила уже холоднее: — ...мигрировали в Империю целыми шумными толпами, пугая до смерти местных крестьян своей яркой магией и грубо нарушая покой и без того коротких смертных.

— Это не миграция! Это туризм! — звонко и запальчиво выкрикнула самая маленькая и, видимо, самая горячая фея с нежно-розовыми, как лепестки дикого пиона, крылышками, которые трепетали от возбуждения так быстро, что казались вязким розовым облачком, сотканным из самой утренней, еще не растаявшей дымки. В её звонком, молодом голосе слышалась такая искренняя, всепоглощающая убежденность, что Салатария на одно долгое, усталое мгновение глубоко задумалась: «А не слишком ли много опасных вольностей мы, старейшины, необдуманно позволили этим детям в последнее время? Может быть, они отчасти правы, и их бурлящий, не находящий выхода энтузиазм и правда требует какого-то выхода, как перегретый пар из туго закрытого, готового взорваться котла?»

Тиларий, до этого безмятежно дремавший в старом, продавленном кресле у ярко пылающего камина, медленно, с великой неохотой приоткрыл один мудрый, выцветший глаз. Древний, дышащий на ладан эльф, Хранитель Судеб, тысячу лет назад добровольно заперевший зияющие Врата в мир иной ценой собственной, навсегда утраченной связи с живым миром, сейчас выглядел именно так, как и подобает выглядеть старому, уставшему деду, которого любимые, но несносные внуки наконец-то довели до белого каления. Его длинная, седая, как лунный свет, борода, достаемая до самого пыльного пола, была похожа на бороду старого, мудрого лешего; а глубокие, как овраги, морщины на старом, пергаментном лице были так глубоки, что казались не морщинами, а глубокими, вековыми трещинами на древней, иссохшей коре, по которым до сих пор медленно, тягуче течет золотистый сок столетий. Только вместо любимых внуков, к сожалению, у него были правнучки в неисчислимом количестве... он честно пытался их сосчитать, но сбился с печального счета где-то на пятидесятой по счету. И каждая из этих шустрых, неугомонных девчонок, казалось, вознамерилась во что бы то ни стало своей неумной энергией испортить ему остаток и без того нелегкой, мучительной вечности.

— Салатария, — проскрипел голосом, подобным шороху сухих, давно опавших листьев, которые холодный, равнодушный ветер безжалостно гонит по осенней аллее, сгребая в печальные, снующие кучи у корней замёрзших деревьев. — Дай им золота, сколько просят. И с миром отпусти. Я еще хорошо помню, в моей далекой, бесшабашной молодости с вечно голодными троллями это безотказно срабатывало. Мы тогда просто бросали им тяжелый мешок с тускло звенящими монетами, и они, довольные и сытые, мирно уходили обратно в свои негостеприимные скалы до следующего голодного года.

— Дедушка! — возмущенно воскликнула фея цвета утренней зари, и её крылья возмущенно затрепетали. — Нас не подкупить таким дешевым золотом! Мы — не какие-то там голодные тролли! Нам нужны настоящие впечатления! Яркие эмоции! Счастье новизны! Мы хотим, наконец, танцевать до упаду на шумных балах в огромных залах, смотреть на прекрасных рыцарей в сверкающих, как солнце, доспехах, пробовать непривычную человеческую еду

и пить их густое, терпкое, искристое вино, которое, как говорят, развязывает не только языки, но и самые потаенные, запертые в клетку души!

— Ах, впечатления... — Тиларий, с громким, протяжным кряхтением опираясь на тяжелый, как камень, посох, искусно вырезанный неведомыми мастерами из толстой, гибкой ветви самого Мирового Древа, медленно, с трудом поднялся с кресла. Его вековые, неторопливые движения были такими же медленными и размеренными, как у корней, что растут не вверх, а в самую глубь веков, но в этой кажущейся немощи чувствовалась колоссальная, накопленная за прожитые тысячелетия сила — сила, которая много лет дремала, но не умерла окончательно, терпеливо ожидая своего звездного часа. Он медленно, даже величественно подошёл к возбуждённой стайке фей и навис над ними, как огромный, древний дуб нависает над беззащитными, хрупкими одуванчиками, отбрасывая длинную, угрожающую, почти зловещую тень, в которой, если напрячь зрение, можно было смутно разглядеть призрачные очертания давно не надеванного меча и щита, и тяжелый плащ из живых, колышущихся без ветра листьев. — Хотите впечатлений, говорите? Что ж, я расскажу вам о своих впечатлениях. Когда я тысячу лет назад насмерть сражался с ненасытной Тьмой у самых Врат, когда один за другим, на моих глазах безжалостно гибли мои верные собратья — каждого из них я помню по имени до сих пор, каждое их дорогое лицо навеки застыло в моей памяти, как острый кинжал в самом сердце, — когда моя древняя, уставшая душа медленно умирала от мучительного разрыва с живым миром, и я физически чувствовал, как теплая земля уходит из-под моих ног — вот это, дети мои, были настоящие впечатления! А то, что вы так страстно хотите, называется коротко и просто — «погулять без родительского спросу». И поверьте моему многовековому опыту, в большом, жестоком мире гулять без спросу — ох, как опасно. Там водятся такие жуткие твари, от которых ваши хорошенькие крылья, увы, не спасут, ибо эти твари питаются не плотью — чистым светом и детскими надеждами.

Феи, испуганно переглянувшись, притихли ровно на три долгих, показавшихся СалатариИ вечностью секунды, лишь их крылья тревожно, мелко трепетали за спиной, выдавая напряженную внутреннюю борьбу между детским страхом и юношеским максимализмом.

— Ну, бабушка... — заныла главная, надув хорошенькие губки и проигнорировав тот факт, что Тиларий по крови приходился ей именно прадедушкой, а не бабушкой. — Мир ведь давно изменился к лучшему! Мы слышали, что в Империи Дарада теперь правит сама Царица Ночи из древнего рода вампиров, и это же такое... такое...

— Романтичное, хочешь сказать? — закончил за нее Тиларий с ледяной, убийственной иронией, и в его усталом, как сам мир, голосе вдруг прозвучала такая глубокая, вековая горечь, что даже самые дерзкие, самые смелые феи невольно поежились, и их яркие, радужные крылья пугающе потемнели от неожиданного, липкого страха. — Хотите, значит, запретной романтики? Что ж, слушайте: вампиры — это не ваши наивные, сладкие романы. Это древние, безжалостные существа, которые могут одним осторожным, почти нежным поцелуем высосать вашу драгоценную жизненную силу до последней капли, безвозвратно превратив вас в сухую, ломкую, как пергамент, оболочку. И они, поверьте, не спрашивают у жертвы вежливого разрешения.

— Модно! — громко поправила его фея, тщетно пытаясь перекрыть его тяжелый, пророческий голос. — Это модно, бабушка! Все просвещенные феи сейчас хотят быть, как Она! Быть опасными, загадочными, сильными, а не просто красивыми, но скучными декорациями к лесным полянам!

— Все эти юные, глупые феи — безмозглые, — отрезал Тиларий, и его глухой, тяжелый голос прозвучал как окончательный, не подлежащий обжалованию приговор. — И ты, моя дорогая правнучка, в том числе.

Это был не просто мимолётный, поверхностный семейный спор. Это был гулкий отзвук древнего, как мир, разлома, старой, незаживающей трещины, что много тысяч лет назад прошла через самое сердце некогда единого и могучего народа фей. Те, кто когда-то, в незапамятные времена, добровольно ушёл во Тьму, были когда-то такими же — молодыми, горячими, жадными до новизны и отчаянно не желающими мириться с тесными, душными границами, установленными старшими. Салатария, знавшая историю до мельчайших подробностей, боялась, что древняя, кровавая история может неминуемо повториться, и сейчас, с тревогой слушая этот многоголосый, полный горечи шум, она чувствовала, как по ее усталой спине медленно, леденяще ползет холодок. Это был холодок не физического, а гораздо более глубокого страха. Не за себя, нет. За них. За этих глупых, прекрасных, не ведающих, что творят, детей.

## Глава 2. Феи старого порядка

Лес Предков никогда не спал по-настоящему, той безмятежной, целительной дремотой, что знакома смертным созданиям. Он дышал — глубоко и размеренно, как огромное, многовековое существо, переваривая густые, липкие воспоминания ушедших эпох и не спеша плетя новые, тонкие, как паутина, нити текущего бытия. Но той ночью его вековой, умиротворенный сон стал особенно тревожным, словно древнему, могучему великану, скованному оковами земли, снился затяжной, полный боли кошмар.

В самой глубокой, сокровенной чаше, куда не забредали даже самые отчаянные любители приключ из молодых фей, где исполинские корни Мирового Древа уходили в холодную, слепую землю на такую чудовищную глубину, что касались истлевших, рассыпающихся в прах костей древних, давно забытых богов, — стояла тишина. Не та звонкая, полная ожидания тишина, что бывает перед самым рассветом, когда даже бесшабашный ветер замирает в невыразимом предвкушении, а — мёртвая. Ватная, душная, какая бывает только в давно заброшенных, проклятых местах, где само время течёт по иным, чуждым законам, где привычные секунды мучительно растягиваются в долгие часы, а часы — в томительные, бесконечные столетия. Здесь, в этом зловещем, пропитанном древней магией сумрачном святилище, мохнатые стволы деревьев были сплетены воедино так тесно, что редкий, робкий свет сюда проникал лишь в виде жалких, тусклых лучей, с трудом пробивающихся сквозь густой, многослойный полог вечной, непроглядной листвы.

Воздух был густым, тягучим, как вековая смола, и пах древностью — тем сладковатым, терпким, немного приторным запахом, который остается после того, как бесследно умирает бог, чье огромное, нечеловеческое тело медленно растворяется в материнской земле, пропитывая её своей уходящей сутью. Этот запах, странная смесь нектара и формальдегида, въедался в легкие, оседал на языке горьким, несмываемым привкусом, и те несчастные, кто дышал им слишком долго, понемногу, незаметно для себя, начинали забывать, кто они такие и зачем, собственно, пришли. Сначала забывались имена, потом — дорогие лица и любимые голоса близких. А потом — забывалась даже сама боль.

Дубло — старый Фей Древа, чей почтенный возраст измерялся уже не числом прожитых за плечами лет, а астрономическим числом облетевших и выросших вновь листьев на великом Мировом Древе, — неподвижно сидел на своём корявом, поросшем седым мхом суку и пристально смотрел во тьму. Он давно стал частью этого места, его сросшийся с грубой корой панцирь уже невозможно было отличить от морщинистого ствола, и лишь одни глаза — выцветшие, но полные невыразимой, вековой печали — всё ещё выдавали в нем живое, чувствующее существо, замурованное заживо.

Его глаза — огромные, навывкате — давно выцветли: когда-то, в незапамятной юности, они были ярко-зелёными, цвета молодой, сочной листвы в весенний полдень, а теперь стали тускло-серыми, как безрадостное зимнее небо над суровым Иммаралем перед затяжной снежной бурей. Старая, потрескавшаяся кора на его лице прорезалась глубокими, морщинистыми руслами, в которых постоянно копилась влага, и казалось, что по его пергаментным щекам вечно текут беззвучные слёзы — слёзы по тем, кого он так и не смог уберечь от рока, по светлым временам, которые уже никогда не вернуть. А седой мох, заменявший ему бороду, давно поседел от непомерного возраста и накопленной, невысказанной мудрости — он был бел, как

первый снег, неожиданно выпавший на суровых вершинах гор, и в этой древней, священной бороде запутались крошечные, светящиеся в темноте грибки, которые, как знали лишь посвященные, росли только на очень старых феях или на месте падения упавшей с неба звезды.

Дубло помнил времена, когда феи были не беззаботными мотыльками, беспечно порхающими между цветами и поющими наивные, детские песни, а грозой древних лесов — существами, чья древняя, хаотичная, не знающая правил магия заставляла трепетать от ужаса даже могучих, бесстрашных драконов, ибо она была непредсказуема, как сама дикая, первозданная природа. Он помнил Древний Пакт не как тяжёлые, унижительные оковы, которые кто-то коварно надел на его народ, а как защиту — как единственное, что долгие века удерживало голодную Тьму на безопасном расстоянии, не давая ей вырваться из чрева Скал Вечного Отчаяния. Он помнил, как на рассвете времен подписывали этот Пакт. Кровью. На горячих ещё, не остывших костях павших героев, чьи громкие имена бесследно стёрлись из официальной истории, оставив после себя лишь тихое эхо былых, забытых подвигов. Под пристальными, тяжелыми взглядами богов, которые с тех самых пор больше никогда не удостаивали своим явлением этот неблагодарный мир, ибо их земное время безвозвратно прошло, уступив место времени смертных.

Он помнил, что было ДО.

ДО того, как Врата в мир иной спешно закрыли в первый раз, навечно запечатав Тьму в слепых глубинах. ДО того, как голодная Тьма ушла глубоко под корни, с годами питаясь ненавистью тех отчаянных, кто отчаянно остался по ту сторону бытия. ДО того, как его некогда единый и могучий народ навсегда разделился на тех, кто благоразумно принял суровый Пакт, и тех, кто ушёл во Тьму, предпочтя опасную, дикую, почти верную смерть — безопасной, но скучной, предсказуемой жизни. Он помнил в лицо и по именам тех отчаянных, кто ушёл тогда. Помнил их звонкие, как музыка, имена, за произнесение которых сейчас, в новой эпохе, можно было поплатиться жизнью. Помнил их беззаботный, чистый смех, их пронзительные песни, полные надежды на лучшее будущее, их удивительные крылья, сверкающие на полуденном солнце всеми цветами, какие только можно вообразить — золотыми, как утренний свет, серебряными, как полная луна, синими, как самая глубокая океанская бездна. Помнил, как в самый последний раз смотрел в бездонные глаза сестры, которая, полыхая праведным гневом, назвала его предателем, и в её глазах, прежде наполненных безграничной любовью, он увидел лишь холодное, ледяное презрение и горькую, всепоглощающую жалость. И помнил, как он тогда, онемев от горя, ничего не ответил ей. Не потому, что ему нечего было сказать. А потому, что все нужные слова застряли в его пересохшем горле, превратившись в один огромный, колючий, непроглотимый ком, который он, безмолвно и покорно, носил в себе вот уже целую тысячу лет, и который с каждым прожитым годом становился только больше и невыносимее.

— Пакт пал, — проскрипел он наконец, и его старческий, надтреснутый голос зазвучал сухо, пугающе безжизненно, как зловещий треск сухой, надломленной ветки под неосторожной ногой случайного путника. — И весь мир содрогнулся от этого. Старые, незаживающие раны вновь болезненно открылись, истекая гноем.

Где-то в испуганно затаившейся глубине чащи — там, где не росло ни единой травинки, где сама земля была черна, мертва и безвозвратно бесплодна, — нечто медленно колыхнулось в ответ. Оно не имело ни формы, ни очертаний, но имело присутствие — тяжелое, давящее, почти осязаемое, как зловещая вибрация в спертom воздухе перед сокрушительным землетрясением, как едкий запах озона за одну короткую секунду до удара испепеляющей молнии. Оно

слушало. Оно всегда слушало — с тех самых пор, как обезумевший от горя Дубло впервые пришёл сюда, наивно надеясь, что тишина исцелит его от разъедающих душу воспоминаний, умерит хоть немного его вечную, неутихающую боль.

— Да-а-а... — прошелестел в ответ ледяной, как смерть, ветер, хотя самого ветра в затхлой чаще не было и в помине. Это был тягучий, леденящий душу шёпот самой Тьмы — первозданной, древней и безжалостной. — Да-а-а... Пакт наконец-то пал. Тонкая нить, что связывала вас с жизнью, порвалась. Мы чувствуем это каждой частицей нашего безбрежного голода.

Дубло вздрогнул всем своим старым, расслабленным телом, и его вековая, иссохшая кора отчаянно закрипела, как давно не смазанная, ржавая дверь в заброшенном склепе. Даже спустя целое тысячелетие этот звук — голос из самой бездны — заставлял его древнее, замершее было в веках сердце мучительно сжиматься от первобытного, не поддающегося времени ужаса. Этот леденящий звук, исходящий из самой преисподней, был похож на отвратительный скрежет острого металла по толстому стеклу, на душераздирающий плач новорожденного в пустой, всеми забытой комнате, на предсмертный, полный агонии вздох умирающего мира. В нём, в этом звуке, было что-то от безутешного голоса матери, навсегда потерявшей своё дитя и слепо зовущей его в ледяную, безответную пустоту. И одновременно — что-то от зловещего голоса палача, методично затачивающего своё длинное, острое лезвие перед казнью. В нём сконцентрировалась вся боль, которую невозможно выразить никакими словами, и вся холодная, расчётливая ненависть, что копилась долгих девять тысяч лет вынужденного заточения.

— Дети стали бесследно пропадать, — сказал старый фей, и в его надтреснутом голосе, наконец-то, впервые за эти многие томительные века прозвучала не просто сухая констатация пугающего факта, а острая, живая, кровоточащая боль. — В новом, «свободном» мире. По старым, забытым законам. Кто-то, из нашего прошлого, уводит их во Тьму, одного за другим.

Тьма в глубине чаши на миг замерла, переваривая услышанное, а потом начала медленно, очень медленно подниматься с земли, постепенно обретая пугающие, смутные очертания. Это было не живое тело — это была чья-то тень. Тень, отбрасываемая чем-то, чего больше нет в этом мире, но что, умирая, отказалось исчезать навсегда, что из последних сил цеплялось за реальность мёртвой, нечеловеческой хваткой. Тень, которая отчаянно помнила себя. Тень, которая жадно питалась чужой памятью, чужими страхами и чужим, непролитым горем живых. Тень, которая была невыносимо голодна уже целых девять тысяч лет, проведённых в ледяной, всепоглощающей пустоте.

— По старым законам, — гулко пронеслось в измученном сознании Дубло, хотя он не был до конца уверен, слышит ли он этот скрежещущий голос своим чутким ухом или просто чувствует его ледяное дыхание своей старой, дряблой кожей. — Пакт пал. Но старые законы, что вы, трусы, писали кровью, остались в силе. Мы теперь не связаны. Мы всегда были здесь, рядом. Мы терпеливо ждали, когда вы, сытые и равнодушные, наконец ослабнете. Когда ваша хваленая безопасность, за которую вы продали свободу, сама собой превратится в гниль.

Дубло с трудом, с невыразимым усилием сглотнул вставший в горле колющий, непроглотимый ком. Тысячу долгих, мучительных лет он носил в себе этот ком вины, страха и бесконечных сожалений. И сейчас, под тяжелым взглядом из бездны, он стал почти невыносимым, готовым задушить.

— Я не позволю вам... — прошептал он, но его голос прозвучал жалко, жалобно и неуверительно даже для него самого. Это был просто струйка пара, шёпот немощного старика, который не в силах остановить надвигающийся ураган.

— Ты не позволишь? — Бездна засмеялась. Беззвучно, без единого выдоха. Эта немая, но всепроникающая, вязкая, как смола, вибрация была в тысячу раз страшнее любого крика или хохота — потому что в этой гробовой тишине смех звучал прямо в голове, разъедаая мысли, как крепкая кислота, и оставляя после себя лишь зияющую, пульсирующую пустоту. — Ты, который трусливо подписал этот прогнивший Пакт, чтобы ценой предательства спасти свою драгоценную шкуру? Ты, который добровольно предал своих, отдал на заклятие, чтобы дожить свой жалкий век в золотой, но душной клетке под покровительством драконов? Ты, малодушный, который променял дикую, прекрасную свободу на сытую, предсказуемую безопасность? Ты — не позволишь?

Дубло судорожно, до хруста в пальцах, вцепился скрюченными, дрожащими пальцами в шершавую кору сука, на котором сидел, чувствуя, как под острыми, поломанными ногтями с хрустом лопается кора и из глубоких ран сочится густой, млечный, слабо светящийся в сумраке сок. Каждое произнесённое голосом Тьмы слово было безжалостным, как пощёчина, и било наотмашь, потому что каждое слово было чистой, неопровержимой правдой. Горькой, как полынь, неопровержимой, как сама смерть. Он, Дубло, действительно предал. Он, своим малодушием, подписал. Он, из трусости, выбрал липовую безопасность вместо дикой, окровавленной свободы, трусливо боясь за свой народ, но в итоге добровольно погубив тех отчаянных, кто с ним не согласился. И теперь горько расплачивался за это каждую бессонную ночь и каждую минуту своей бесконечной, выматывающей, полной сожалений жизни.

Тысячу лет назад, когда Врата поспешно закрывали впервые, когда могущественная Богиня Савалла была навечно заточена по ту сторону реальности, а всепоглощающая Тьма, алчная и нетерпеливая, рвалась в хрупкий мир, феи оказались перед страшным выбором, который навеки определил их судьбу. Дубло тогда был ещё молод (по бесконечным меркам фей) и чрезмерно амбициозен, его юные крылья сверкали свежей, радостной позолотой. Он воочию видел, как мудрые эльфы и могучие драконы заключают между собой прочные, нерушимые союзы, как они делят сферы влияния, хладнокровно строят огромные империи на ещё не остывших костях поверженных врагов. И тогда он, ослеплённый иллюзией контроля, предложил чудовищную сделку: феи добровольно отдадут свою древнюю, дику магию для усиления Пакта, а взамен навечно получат защиту Леса Предков. Вечную защиту. Он искренне думал тогда, что спасает свой испуганный народ, обеспечивая ему сытую, тихую, безопасную жизнь. Но он, наивный, не знал тогда, что спасает их ценой гибели тех смельчаков, кто останется за роковой чертой. Не знал, что Пакт — это не просто дипломатический договор, а страшная клятва кровью. Клятва, которая неразрывно связывает не только живых, но и мёртвых, обрекая их на вечные муки. Клятва, которую нельзя разорвать, не заплатив страшную, непомерную цену. Цену, которую он, Дубло, молча и покорно платит до сих пор, каждым своим мучительным вздохом, каждым прожитым, полным сожалений днём.

— Они ушли в никуда... — прошептал Дубло, и его надтреснутый голос сорвался на едва слышный шёпот, похожий на горестный шорох преждевременно опадающих листьев. — Те, кто не согласился с Пактом. Они ушли в Тень, за незримую границу. Я думал тогда... я свято верил, что они погибли, безвозвратно растворились в небытии, в холодной пустоте.

— Мы не погибли, — холодно и властно ответила Тьма, и теперь в её тягучей глубине проступили смутные, пугающие очертания — высокие, тонкие, неестественно вытянутые силуэты с длинными, словно переломанными крыльями, которые не несли света, а лишь алчно поглощали его, делая окружающую темноту ещё гуще, ещё более первозданной, ещё более бездонной. — Мы стали в десятки раз сильнее. Мы стали наконец-то свободнее. Мы взрастили нашу великую Королеву Нимериэль на вашем животном страхе, на вашей позорной слабости, на ваших горьких, непролитых слезах. А теперь, когда ваш драгоценный, прогнивший насквозь Пакт наконец-то пал, мы, живые, можем беспрепятственно вернуться... и забрать своё по праву крови.

Из клубящейся черноты медленно, грациозно выступила фигура с пугающей, неестественной, нечеловеческой грацией. Она была прекрасна той жуткой, запретной, запредельной красотой, от которой у живого существа стынет в жилах кровь, а сердце бешено сжимается от невыразимого, первобытного ужаса. Её сиреневая кожа, когда-то живая, тёплая и светящаяся изнутри, теперь стала почти прозрачной, с перламутровым, но мертвенно-бледным отливом, как у рыбы, выброшенной на берег и медленно высохшей на палящем солнце. Её крылья — когда-то, тысячу лет назад, они были прекрасными, золотыми, как утреннее солнце, и с любовью несли её над цветущими, благоухающими лугами, — теперь висели за спиной тяжёлыми, чёрными, рваными, обгоревшими лохмотьями. И сквозь зияющие прорехи в этих лохмотьях отчётливо виднелись тонкие, как иглы, косточки, покрытые чёрными, зловеще пульсирующими рунами, каждая из которых была словом на давно забытом, мёртвом языке, забытом даже капризными богами Тьмы. И каждое такое слово означало одно-единственное — «боль». Ту самую боль, которую она, покорно и молча, впитала в себя за долгие, мучительные годы вынужденного заточения.

Но самыми пугающими, самыми ледящими душу были глаза этой фигуры.

Пустые. Абсолютно пустые, без намёка на зрачки, без следа радужки, без единого проблеска мысли или чувства. Только глубокая, бездонная, бесконечная чернота, в которой, если пристально вглядываться достаточно долго, с ужасом можно было увидеть собственное, искажённое до неузнаваемости отражение. Искажённое. Медленно умирающее. И — совершенно, леденяще чужое. Чужое настолько, что хотелось немедленно отвести взгляд, закрыть глаза, убежать, но не было никакой физической возможности, ибо в этой всепоглощающей черноте таилась гипнотическая, парализующая волю, всепоглощающая сила, перед которой бессильны даже боги.

Сильфида.

Та самая, что в отчаянии кричала ему тысячу лет назад, когда судьба их несчастного народа висела на тонком, готовом оборваться волоске: «Ты бездушно предаёшь нас, Дубло! Ты с потрохами продаёшь нашу священную свободу за жалкую безопасность! За золотые, тесные клетки, в которых мы неминуемо зачахнем!»

— Сестра... — прошептал потрясённый Дубло, и его старое, как мир, пергаментное лицо исказила мучительная гримаса боли.

— Я не сестра тебе, трус, — ледяным тоном ответила Сильфида, и её глухой, зловещий голос был подобен душераздирающему звону разбитого вдребезги стекла, отвратительно смешанному с надрывным карканьем похоронных воронов. — Не с тех самых пор, как ты со

своей подписью продал нас всех. Не с тех пор, как ты, не дрогнув, оставил нас умирать во Тьме, и даже не обернулся на прощание, не проронил ни слова. Не с тех пор, как твои подлые потомки начали петь хвалебные песни о так называемом «Великом Спасении», о нашем спасении, удобно забыв, что это «спасение» стоило нам девяти тысяч лет чистого, беспросветного ада. Девяти тысяч лет неутолимого, ледящего голода и бесконечной, сокрушающей боли.

Она легко, не касаясь земли, шагнула ближе. Её длинные ноги, босые и неестественно бледные, парили над землёй, не оставляя следов, — она словно плыла над ней, оставляя за собой длинный след из чёрного, дымящегося, тошнотворно пахнущего пепла. Пепла, который когда-то, в другой жизни, был живыми существами — может быть, феями, может быть, людьми, может быть, теми несчастными, кого она лично убила, с жестокостью доказывая свою безоговорочную верность Тьме. Дубло не хотел и боялся знать, чьими именно жизнями удобрена эта чёрная, дымящаяся земля. Но холодная, ледящая догадка уже змеёй шевельнулась в его древнем, перепуганном сердце, заставляя и без того холодную кровь стечь в жилах.

— Тысячу долгих, мучительных лет мы ждали этого часа, — продолжала Сильфида, и в её монотонном, ледяном голосе звучала не просто животная злоба, но вековая, выношенная, отточенная до совершенства обида. — Тысячу лет мы копили свои силы, терпеливо питаясь детьми и останками забытых богов. Тысячу лет мы молча слушали, как вы, трусливые феи, поёте свои глупые, полные пафоса песни о долгожданной свободе, не имея ни малейшего понятия, что настоящая, истинная свобода — это когда нечего больше терять, некого жалеть и не о ком плакать. А теперь... теперь наша великая Королева наконец-то пробудилась от долгого сна. Нимериэль. Та, кто помнит времена до Пакта, до появления этого жестокого, враждебного мира. Та, кто воочию видела, как боги умирали и вновь рождались в муках. Она неумолимо идёт к вам. И ничто на свете не остановит её. Ни ваши напыщенные драконы, ни ваши высокомерные эльфы, ни ваш хваленый, лживый Свет. Никто.

Дубло мгновенно похолодел от ужаса. Ему вдруг стало невыносимо, до ломоты в костях холодно, словно сама медленная, неумолимая смерть ледяной рукой коснулась его иссохшей, дряблой спины.

Пропажи. О которых последние тревожные месяцы испуганно шептались матери-феи в своих гнёздах, боязливо пряча глаза и страхась произнести вслух то, что уже знало их измученное материнское сердце, — но боялись, ибо не верили. Пропажи, которые они в отчаянии списывали на то, что неразумная молодёжь, слишком увлечшись манящим «большим миром» и его соблазнами, просто-напросто забыла дорогу домой. Пропажи, которые они ревностно прятали от своей Королевы, чтобы не тревожить её понапрасну в её добровольном, вынужденном заточении у Мирового Древа. Теперь он со всей полнотой осознал ледящую правду. Дети не пропадали бесследно. Их забирали. Их коварно готовили, промывали хрупкий разум, безжалостно превращали в безмолвных, покорных, не знающих жалости солдат для огромной армии Тьмы, которая неминуемо должна была захлестнуть этот мир кровавой волной.

— Вы забираете детей... — сдавленно выдохнул он, и его старый голос предательски дрогнул, сорвался на фальцет.

— Мы забираем своё по праву, — ледяным тоном поправила Сильфида, и в её мёртвом голосе вдруг просквозила извращённая, чудовищная материнская гордость. — Тех, кто страстно жаждет настоящей свободы от ваших душных, лицемерных правил. Тех, кто, в отличие от вас, трусов, не боится тёмной глубины, а, напротив, видит в ней неисчерпаемую силу.

Мы щедро даём им то, что вы, дрожащие за свою шкуру, дать не могли и не смели. Истинную силу. Истинную магию. Истинную жизнь — без унижительных границ, без глупых запретов, без этого проклятого Пакта.

Из самой глубины зловещей чащи, из-за переплетённых стволов, донеслись звуки, от которых у старого, многое повидавшего фея болезненно зашевелились все его древние, давно поседевшие мхи. Тихий, звенящий, полный нечеловеческого восторга смех, похожий на звон тысяч крошечных, ледяных колокольчиков, многоголосый шёпот, полный сладкого предвкушения и восторга, а потом — неожиданно высокий, чистый детский голос, беззаботно пропевший старую-престарую колыбельную, которую Дубло в последний раз слышал в далёком, безвозвратно ушедшем детстве и давно уже считал навсегда забытой:

Спи, моя радость, усни,  
В доме погасли огни,  
Тёмные гости придут,  
В тёмный свой танец вплетут...

Дубло в отчаянии зажал уши своими корявыми, дрожащими ладонями, беззвучно молясь всем давно забытым богам, но этот леденящий душу голос звучал прямо в его сознании — проникал сквозь его сплюснутые пальцы, сквозь твердую, как камень, кору, сквозь саму вековую, защищавшую его магию. Это была не просто детская, наивная песня на ночь. Это было древнее, страшное заклинание призыва. То самое, которое в стародавние, языческие времена пели феи, в последний путь провожая своих бесценных мёртвых в неведомый мир иной. Но сейчас, в этом проклятом месте, его безжалостно пели для живых. Или для тех несчастных, кого уже нельзя было назвать ни живыми, ни мёртвыми — для тех, кто медленно и мучительно превратился в безликую тень, в пустую оболочку без души.

— Что вам нужно?! — с надрывом прохрипел Дубло, чувствуя, как с каждым мгновением силы стремительно покидают его, и он вновь превращается в беспомощный, жалкий комок старой, рассыпающейся коры и влажного, дышащего на ладан мха.

Сильфида приблизилась почти вплотную, и её ледяное, нечеловеческое дыхание, пахнувшее могильной сыростью и чем-то тошнотворно-сладковатым, приторным, коснулось его пергаментного лица. Запах разложения. Запах, который не могли заглушить никакие, даже самые сильные благовония, ибо он шёл из самой глубины, из гниющей, умирающей души. Теперь он, содрогаясь от отвращения, мог разглядеть каждую чёрную, пульсирующую прожилку, извивающуюся под её прозрачной, почти стеклянной кожей, каждую древнюю руну на её безнадёжно сломанных, истлевших крыльях. Под её кожей, вместо живой, горячей крови, текла сама жидкая, сгущённая, невыносимо голодная Тьма.

— Нам нужен ключ, — едва слышно, одними губами, прошелестела она. — Тот, кто безошибочно соединяет. Тот, чья невидимая нить — монолит. Тот, кто может исцелять даже самые страшные, вековечные разломы и отворять самое сокровенное, что было закрыто навеки. Тот, кто родился от дракона и человека и, по нелепой случайности, носит в своей крови дику, необузданную силу древних варваров.

Дубло замер от ужаса. В его ветхой, запылившейся памяти внезапно, подобно яркой вспышке молнии, всплыло древнее пророчество — то самое, которое он много веков назад счёл небылицей, красивой, но пустой легендой, — о таинственном Соединителе, который непре-

менно придёт в этот мир, содрогающийся в предсмертных муках, когда мир будет стоять на грани неминуемой, всеобщей гибели.

— О ком ты говоришь? — пересохшими губами прошептал он, хотя уже страшно догадывался.

— Не притворяйся глупее, чем ты есть, дряхлый старик, — Сильфида презрительно усмехнулась, и в этой застывшей, неживой усмешке было столько древней, выношенной годами ненависти, что Дубло физически почувствовал, как спертый воздух вокруг стал тяжелее, тягучее, как перед самой страшной, сокрушительной грозой, когда небо мгновенно заволакивает свинцом и каждое живое существо, подчиняясь инстинкту, хочет забиться в самый темный, безопасный угол. — Ты чувствуешь его, старый червь. Мы все чувствуем этот источаемый им запах свежей, нерастраченной силы. В Империи, из пыли и забвения, проснулась новая, доселе невиданная сила. Мальчишка с горячей кровью свирепых варваров и древних, как мир, драконов. С юной, неокрепшей душой, способной, словно целительный бальзам, соединять само разорванное, умирающее бытие. Такой бесценный ключ, если приложить усилие, откроет любые двери, даже самые потаённые. Даже те, за которыми мы, бессильные, не могли взломать вот уже тысячу лет. Даже те, за которыми безмятежно спит сама Прародительница.

— Шарит... — выдохнул потрясённый Дубло, и это простое имя, произнесённое вслух в этом проклятом месте, неожиданно обожгло его пересохшие, потрескавшиеся губы, как раскалённое железо.

— Шарит, — многоголосым, леденящим эхом отозвалась Сильфида, и в этом печальном, бесконечном эхе явственно слышался смертный приговор. — Он уже идёт сюда со своим ничтожным отрядом. Он, наивный, думает, что будет говорить с детьми о «свободе» и честно приведёт их за собой. А мы, старый глупец, будем терпеливо ждать его в тених. Наша великая Королева, Нимериэль, уже сейчас неспешно собирает свою непобедимую армию в глубине Скал Вечного Отчаяния, поднимая из праха мёртвых и пленённых. Скоро, очень скоро она наконец-то выйдет победным маршем на благодатный юг. И твой драгоценный «мальчик с даром» станет тем самым ключом, который беззвучно откроет ей ворота Империи, которые не брала ни одна армия.

Дубло, движимый животным отчаянием, которое вдруг оказалось сильнее его вековой, расслабляющей немоги, неожиданно рванулся вперёд. Его старые, разбитые, разошедшиеся крылья с протяжным, жалобным треском вдруг расправились сами собой — в последний, отчаянный, безнадёжный раз. В них ещё теплилась слабая, как умирающая свеча, искра древней магии — но она была так слаба и беспомощна.

— Я не позволю! — выкрикнул Дубло. — Я предупрежу их всех! Я расскажу всю правду Императору и Царице! Я...

Он не договорил.

Сильфида метнулась к нему быстрее мимолётной мысли, быстрее света, быстрее, чем вообще может двигаться живое, дышащее существо в этом подлунном мире. И древний, разбитый фей мгновенно почувствовал, как холодные, костлявые пальцы стальным обручем смыкаются на его дряблой шее, вмиг перекрывая воздух, и без того скудный, и готовый вырваться крик. Её пальцы были не просто холодными — они были мёртвыми. В них не чувствовалось ни

пульса, ни тепла, ни малейшего признака жизни. Только древняя, извечная, всепоглощающая пустота, только та чудовищная сила, которую он сам когда-то, в минуту малодушия, отверг и которая сейчас, в награду, безжалостно душила его, возвращаясь сторицей.

— Ты, жалкий червь, никого не предупредишь, братец, — прошептала она, и от её ледяного, пахнувшего могильной сыростью и сладковатым тленом дыхания у Дубло стремительно закружилась голова, а в глазах, полных ужаса, зашипало, словно от едкого дыма. — Ты будешь тихо сидеть здесь, на своём корявом суку, и покорно смотреть, как разворачиваются предначертанные события. Как тысячу лет назад взирал и бездействовал. А когда наивный мальчик войдёт в твой Лес, ты лучезарно улыбнёшься ему и скажешь, что всё хорошо. Что распустившиеся феи просто шалят, как глупые, маленькие дети. Что здесь не происходит абсолютно ничего страшного или необычного. Ты будешь послушной марионеткой, как и всегда им был.

— Нет... — успел прохрипеть Дубло, чувствуя, как мутное сознание стремительно покидает его.

— Да, — она с силой сжала пальцы на его горле, и в её пустых, ледяных глазах, наконец-то, вспыхнул голодный, торжествующий, нечеловеческий огонь. — Или я прямо сейчас, не медля ни секунды, вырву из твоего рассыпающегося тела твою древнюю, прогнившую душу, которая так долго и трусливо пряталась от нас в этой корявой оболочке, и скормлю её голодным корням Древа, чтобы оно зачало быстрее. А потом, с тобой или без тебя, всё равно получу то, что хочу. Выбирай, братец. У тебя есть одна минута, чтобы принять решение.

Дубло, задыхаясь, смотрел в её бездонные глаза — пустые, чёрные, не отражающие абсолютно ничего, — и с леденящей ясностью понимал, что никакого выбора у него, по сути, нет и не было. Не было тысячу лет назад, когда он подписывал Пакт. Нет и сейчас, в этом проклятом, забытом богами месте. Есть лишь жалкая отсрочка, лишь иллюзия трусливой, продажной «свободы», лишь слабая, призрачная, почти нереальная надежда на то, что кто-то другой — более сильный и смелый — сможет сделать то, на что он, старый дурак, так и не решился. Что мальчик с чудным даром окажется гораздо сильнее, мудрее и чище, чем они, слуги Тьмы, о нём думают. Что он сможет переломить предначертанное.

— Я... сделаю... — с невыразимым трудом выдавил Дубло, и его надтреснутый, сорванный голос был подобен последнему предсмертному вздоху умирающего — слабый, жалкий и безнадёжный.

Сильфида (или уже не Сильфида, а то жуткое, искореженное порождение, что от неё осталось) с брезгливым выражением разжала пальцы, и Дубло, как подкошенный, безвольной тряпичной куклой рухнул обратно на свой корявый сук, жадно, с хрипом, хватая пересохшим ртом спертый, душный воздух, как рыба, выброшенная на берег. На его древней, потрескавшейся, там, где только что касались её мёртвые пальцы, остались чёрные, болезненно дымящиеся, пульсирующие как живые следы — отвратительные отпечатки самой Тьмы, которые никогда больше не исчезнут, не сотрутся, не заживут до конца его дней. Они будут постоянно жечь, будут напоминать о его позорной слабости, будут гноиться и болеть до самого конца его и без того долгих и мучительных дней.

— Умница, — она с издёвкой коснулась его дряблой щеки холодной, как лёд, рукой, и на старческой, пергаментной коже остался ещё один чёрный, дымящийся след — позорное клеймо предателя. — Сиди смиренно, не дёргайся. Жди мальчика. А мы пока... поиграем с

детьми. По старым, добрым, почти забытым законам. Тем, что ты, предатель, так боялся нарушить.

Сильфида легко, плавно отступила в зловещую чашу, мгновенно растворяясь между кривыми стволами, становясь тенью среди таких же бесформенных теней. Но перед тем, как исчезнуть окончательно, навсегда, она медленно обернулась через плечо. В её пустых, бездонных, абсолютно чёрных глазах на одно короткое, мимолётное мгновение мелькнуло нечто, смутно похожее на сожаление, на странную, почти человеческую тоску. Или на смертельную, вековую усталость. Или на смутную, истерзанную память о том, кем она когда-то была в своей первой, светлой жизни — до Тьмы, до жгучей ненависти, до того самого дня, когда её живое, тёплое сердце, насквозь пропитанное болью утраты, навсегда перестало биться.

— Знаешь, братец... — сказала она неожиданно тихо, почти по-человечески, и в её сдавленном, сорванном голосе вдруг промелькнула едва уловимая, почти нереальная дрожь. — Иногда, под утро, мне снится... мне жаль, что ты не ушёл тогда с нами. Ты был бы сильным. Ты был бы по-настоящему свободным. Ты не был бы таким мучительно одиноким в этой бессмысленной, чужой, бесконечной вечности... без нас.

И она мгновенно исчезла, растаяла, как призрачный утренний туман под первыми лучами солнца, навсегда оставив после себя лишь тошнотворный запах серы и вековой, непролитой тоски.

Дубло остался один.

Он по-прежнему неподвижно сидел на своём корявом, поросшем мхом суку, вцепившись побелевшими, дрожащими пальцами в шершавую кору, и молча смотрел, как над умирающим Лесом Предков медленно всходит огромная, холодная, равнодушная, чужая луна, заливающая несчастный мир мертвенным, серебряным, леденящим светом. Где-то далеко внизу, на самой южной границе Леса и эльфийских земель, всего в каких-то нескольких днях пути отсюда, уже разбивал свой временный лагерь молодой бронзовый принц. Он сейчас спал беспокойным, лихорадочным сном, ведомый в эту ловушку древними, неумолимыми пророчествами, и даже не подозревал, что идёт не спасать, а прямо в хитроумную западню, которую для него с любовью расставляли целых тысячу лет. Где-то далеко на угрюмом севере, в пугающих Скалах Вечного Отчаяния, медленно, с наслаждением пробуждалась от долгой, тысячелетней кровавой дрёмы огромная армия Тьмы, ведомая Королевой, чьё имя во всех землях стало синонимом проклятия. Где-то в самом сердце огромной, холодной Империи, в роскошном, но тоскливом дворце, долгим, безнадежным сном спал великий император, которого уже много лет никто не мог разбудить, чья израненная душа билась в предсмертной агонии в бесконечном, безысходном круге самых страшных снов.

А где-то совсем, совсем рядом, в тёплой, по-детски пахнущей мёдом и парным молоком уютной детской, безмятежно спал маленький золотой мальчик, чья ужасающая, всепоглощающая тьма росла с каждым днём, каждым часом, каждым мгновением, жадно питаясь его яркими, цветными снами. Мальчик, который был тайным ключом к спасению этого мира — или, напротив, к его полному и окончательному уничтожению. Мальчик, которого ещё только предстояло назвать.

Дубло медленно, с великим трудом закрыл глаза. Перед его усталым внутренним взором встало молодое, беззаботное лицо Сильфиды — той, какой она была когда-то, в далёкой,

навсегда ушедшей юности. Юной, звонко смеющейся, с огромными золотыми крыльями, сияющими счастьем, и прекрасными глазами, полными жадного, ослепительного, живого света и трепетной надежды. И он, старый, всеми забытый фей, неожиданно для себя заплакал — впервые за долгую, нудную тысячу лет, впервые с того самого проклятого дня, как подписал Пакт.

Его слёзы, вопреки законам природы, были не солёными и даже не прозрачными. Они были тяжёлыми, как ядовитая ртуть, и когда они падали на старую, иссохшую кору, то оставляли на ней глубокие, шипящие, чёрные ожоги, которые никогда уже не затянутся.

### Глава 3. Бронзовый медведь

Шарит не спал до самого рассвета. Чувство липкой, давящей тревоги, поселившееся в его груди ещё с прошлой ночи, не просто не отпускало, а с каждым тягучим часом только усиливалось, пульсируя в висках.

Это было не просто дурное предчувствие беды — таких предчувствий, сбывшихся и несбывшихся, у него было немало за недолгую, полную одиночества жизнь в Империи, и многие из них, увы, сбывались с пугающей точностью. Это было глубже, древнее, похожее на глубинный, неподвластный разуму зов крови, который он никак не мог заглушить в себе, на первобытный инстинкт, что проснулся в нём с того самого момента, как он, полный смутной решимости, покинул высокие, неприступные стены дворца. Этот таинственный зов приходил откуда-то из-под самой земли, из ледяной глубины, где вековые корни вековых деревьев намертво переплетались с холодными, давно истлевшими костями древних, ныне забытых существ, и Шарит, сам того не желая, чувствовал его всем своим молодым, напряжённым телом: как едва уловимую вибрацию в холодном камне под усталыми ногами, как глухую, тревожную пульсацию в твёрдых древесных стволах, как тихий, настойчивый, гипнотический шёпот на самой грани слышимого.

«Иди, — настойчиво шептало ему что-то из глубины, и этот леденящий душу шёпот был пугающе похож на шорох старых, перетираемых временем костей. — Иди туда, где темно. Там издавна твоё настоящее место. Там тебя терпеливо ждут. Там твоя истинная, древняя кровь. Там твоя судьба».

Лес, в котором он наскоро, по-походному разбил свой лагерь, хранил тяжкое, зловещее молчание, но это молчание не было мирным — оно было давящим, как перед самой страшной грозой, когда небо становится свинцовым, а влажный, нагретый воздух — вязким, почти живым и осязаемым. По телу тек липкий пот, хотя ночь была холодной. Несколько раз за эту бесконечную ночь ему отчетливо мерещились тени на самом краю дрожащего света от костра — высокие, неестественно тонкие, с длинными, почти до земли, руками, которые заканчивались не привычными пальцами, а длинными, хищно изогнутыми, как кинжалы, когтями. Они пугающе замирали на мгновение, повернув в его сторону нечто, напоминающее голову, смотрели на него пустыми, ничего не выражающими глазницами, а затем, когда он, напрягая зрение, вглядывался пристальнее, бесшумно исчезали, бесследно растворяясь в густых предрасветных сумерках, как клубы утреннего тумана.

Шарит знал: это не обычные, привычные глазу тени от деревьев и веток, не усталая игра его воспалённого воображения. Это были безмолвные посланцы Тьмы — те, кто терпеливо следил за каждым его шагом с того самого момента, как он по приказу Вальтеры покинул надёжные стены гостеприимной Империи. Они не приближались к нему, не нападали, не выдавали своего зловещего присутствия ни единым звуком или запахом. Только тревожное, гнетущее присутствие. Только леденящее, парализующее ощущение, что за твоей спиной неотрывно наблюдают, изучают, оценивают, прикидывая слабые места. Только необъяснимый, неестественный холод, который не имел ничего общего с ночной прохладой, — холод, что без спроса проникал под самую кожу, в самые кости, в самую душу, заставляя зубы выбивать отчаянную дробь, даже когда походный костёр пылал во всю мощь, жадно пожирая сухие, смолистые ветви и выстреливая вверх снопами ярких, быстро гаснущих в ночи искр.

Костёр тревожно трещал, выбрасывая в чёрное, высокое небо тысячи обжигающих искр, которые гасли, так и не долетев до густых, низко нависших крон деревьев, покрытых инеем и вековой пылью. Причудливые, пляшущие тени от корявых стволов плясали вокруг лагеря, как безликие призраки, образуя нервные, постоянно меняющиеся узоры, и Шарит никак не мог отделаться от липкого ощущения, что в этих хаотичных узорах, в их мелькании, скрыт какой-то давно забытый смысл, какое-то зашифрованное послание из мира Тьмы. За ним пристально наблюдали. Не просто наблюдали — его терпеливо изучали. Оценивали, как добычу. Искали слабые места, которые можно будет безжалостно использовать, когда, наконец, настанет час решающей битвы. Он чувствовал на своей спине эти тысячи невидимых, но таких тяжёлых, как свинец, взглядов, давящих на уставшие плечи.

Он сидел на толстом, корявом пне у костра, положив тяжёлые, налитые силой руки на колени, и старался дышать ровно и глубоко, как когда-то терпеливо учил его старый наставник-варвар в детстве: «Когда чувствуешь лютую опасность, не смотри на неё. Смотри глубоко внутрь себя. Туда, где твоя горячая кровь встречается с древней кровью давно ушедших предков. Там, в этом священном месте, всегда есть ответ на любой вопрос. Не ищи врага вовне — ищи силу внутри себя, тогда ты станешь непобедим». Шарит покорно закрыл глаза и попытался представить свою кровь — горячую, густую, тяжело текущую по его жилам. В ней, в этой священной жидкости, смешались воедино золотые, сияющие искры драконьей сути, доставшиеся ему от властного отца-дракона, и тяжёлая, тёмная, как ртуть, медь древних варварских предков, оставленная ему в наследство матерью, которую он, к своему стыду и боли, никогда в глаза не видел. Эти две могучие реки — жаркая драконья и суровая человеческая — сливались в нём в единый, мощный поток, и в самом месте их слияния рождался тусклый, но упрямый, живой, согревающий свет.

— Ваше Высочество... — голос Торвальда, старого, битого жизнью капитана дворцовой стражи, прозвучал неожиданно резко в ночной тишине, хотя Шарит, привыкший за годы одиночества ко всему, уже давно притерпелся к его бесшумной, почти кошачьей походке. — Гонец прибыл. Сам, своими силами, прорвался через наше оцепление с севера. Тяжело ранен, едва жив. Весь в крови. Зовёт вас.

Шарит мгновенно открыл глаза, и смутная, гложущая тревога внутри него вспыхнула с новой, невиданной силой, заставляя сердце биться быстрее.

— Как прорвался? Где моя стража? Где остальные дозорные? Как он мог пройти незамеченным?

— Стража, слава богам, жива, — капитан болезненно поморщился, и в тревожном свете умирающего, догорающего костра его грубое, изрезанное глубокими шрамами старых, давних битв лицо казалось высеченным из серого, неподатливого камня — жёсткое, суровое, непроницаемое, но с глазами, в глубине которых плескалась неподдельная, живая тревога. — Гонец сам сказал, что он на нас не нападал. Он просто... шёл. Сквозь них. Буквально. Они пытались его остановить — он их просто вежливо отодвинул в сторону, как ветки на лесной тропе. Никого не ранил, никого не тронул, даже голоса не повысил. Но остановить не смогли ни магией, ни силой. Такое, Ваше Высочество, не под силу обычному человеку.

Шарит всем телом почувствовал, как ледяной, липкий холодок предательски пробежал по его спине, заставляя тонкие, чувствительные волоски на затылке медленно, неохотно встать

дыбом. Он много слышал в детстве о таких древних существах — тех, кто мог беспрепятственно проходить сквозь мощные магические барьеры и людские заслоны, как сквозь утренний, призрачный туман. Они были древней, почти полностью исчезнувшей расой, и служили верно и беззаветно только тем, чья железная воля была сильнее самой смерти, тем, чья священная кровь по сей день хранила в себе блеклый отблеск былого, великого могущества. Их следовало опасаться. Их называли «ходящими между». Мудрые люди говорили, что эти таинственные вестники появлялись из небытия только перед самыми великими, судьбоносными событиями — перед битвами, решавшими участь целых империй, перед трагическим падением великих царей и мучительным рождением новых, доселе невиданных богов. И никогда — просто так, без крайне весомой, мистической причины.

— Где он сейчас?

— У третьего костра, Ваше Высочество. Сидит на земле, молчит, на вопросы не отвечает, словно воды в рот набрал. Ждёт только вас.

Шарит решительно поднялся, на ходу отряхивая с дорожного плаща налипшие хвойные иголки и мелкий, колючий мусор, но Торвальд, опередив его движение, поймал принца за край рукава. Длинные пальцы капитана, мозолистые, в старых шрамах от меча и глубоких ожогах от боевой магии, мелко, едва заметно дрожали — физическая, неподвластная воле дрожь, и Шарит, насторожившись, отчётливо почувствовал эту липкую, нервную дрожь даже через плотную ткань своей походной куртки. И это неприятное открытие ему очень не понравилось. Суровый Торвальд никогда, слышите, никогда не был трусом; он прошёл не одну войну, смотрел смерти в лицо и не раз хоронил своих боевых товарищей.

— Ваше Высочество... — проговорил капитан шёпотом, почти беззвучно, и в его приглушённом, хриплом голосе слышалась такая неподдельная, откровенная тревога, которую он уже много лет не мог и не хотел скрывать. — Я много чего повидал на своём веку, Ваше Высочество. Я видел разъярённых драконов, когда они теряют над собой контроль; я видел могущественных эльфов, когда они творят свои страшные заклинания; я видел древних вампиров, когда они выходят на кровавую охоту. Но этот тип... такое... — он мучительно запнулся, тщетно подбирая нужные, точные слова, и его старый, покрытый щетиной кадык судорожно дёрнулся, когда он слотнул набежавшую слюну. — Он огромен, Ваше Высочество. Ростом выше любого известного мне человека, и в нём, в каждой его мышце, чувствуется какая-то нечеловеческая, первобытная, пугающая сила. И, что самое странное, от него... пахнет лесом. Не нашим, эльфийским, ухоженным — другим. Древним. Первобытным, из тех далёких, забытых времён, когда ещё никто не строил городов, а люди жили в грязных, тёмных пещерах и молились на костры. Будьте предельно осторожны, Ваше Высочество.

Шарит молча кивнул, осторожно высвободил руку и, не говоря ни слова, быстрым шагом направился к третьему костру.

Тот, кто неподвижно сидел у самого огня, действительно был огромен. Даже сидя на корточках, по-звериному подобрав под себя мощные, как брёвна, жилистые ноги, он возвышался над стоящим рядом Торвальдом на добрых две головы, отбрасывая на усыпанную хвоей землю длинную, зловещую тень. Его широкие, покатые плечи были шире, чем дверной проём в Солдатских казармах Северного Легиона. Мощная, широкая грудь — похожая на огромный кузнечный мех, способная, казалось, перемолоть зубами кости здорового быка одним лишь лёгким движением. Руки, толщиной с те самые брёвна, которыми бедные крестьяне в студёных

северных деревнях издавна топили свои печи долгими, промозглыми зимами. И каждая тугая мышца на этих ручищах медленно перекатывалась под грубой, загорелой кожей, как живой, могучий, отлитый из воронёной стали канат, натянутый до самого предела.

Длинные, слегка вьющиеся русые волосы, тронутые серебряной, благородной сединой — не той, жалкой, что бывает от старости и немощи, а той, суровой, что появляется от пережитых лютых бурь и тяжёлых, невосполнимых потерь, — были аккуратно заплетены в толстую, тугую, как канат, косу, перевитую медной, тускло поблёскивающей на свету костра проволокой. Коса эта, тяжёлая, как якорная цепь, падала на широкую, сутулую спину, почти касаясь самой земли, и в ней, в этой варварской косе, были искусно вплетены небольшие бронзовые кольца — по одному, как догадался Шарит, за каждого врага, лично убитого в честном, равном поединке. Шарит насчитал их, холодея, больше трёх десятков.

Простая, грубая одежда гостя была на совесть сшита из толстой, крашеной шерсти и густого, чёрного медвежьего меха — несмотря на то, что короткая, обманчивая северная весна уже уверенно вступала в свои права, и даже в этих суровых широтах становилось заметно теплее с каждым днём. Словно этот могучий великан вовсе не чувствовал жара или холода, словно его выкованное для битв тело было создано для вечной, лютой стужи и жестоких ветров. Мех — густой, чёрный, с редкой, серебристой, искрящейся в тревожном свете костра остью, — был медвежий. И Шарит, всю жизнь при дворе знавший толк в оружии и доспехах, по едва заметному, старому шраму на выделанной шкуре внезапно с холодной ясностью понял: этот огромный медведь был убит не охотничьей стрелой и не копьём. Его задушили голыми руками. В жестокой, неравной схватке один на один. Эта мысль заставила его кровь быстрее бежать по жилам.

На широком, кожаном поясе у незнакомца висела секира таких невиданных размеров, что обычному, даже тренированному человеку потребовалось бы, наверное, двое, чтобы просто с огромным трудом поднять её с промёрзлой земли. Широкое, загнутое, как молодой месяц, лезвие, выгнутое со спины, было тёмным, почти чёрным, с затейливым, волнообразным узором, похожим на мелкую, застывшую морскую рябь, или на причудливые, мерцающие разводы на старой, давно остывшей лаве. Шарит, затаив дыхание, узнал эту легендарную вязку металла — дамасская сталь, выкованная в глубокой древности в жарких горнах северных, суровых кузнецов, которые, по древнему, кровавому обычаю, добавляли в огненно-жидкий расплавленный металл горячую кровь павших в битве воинов, чтобы грозная секира навеки помнила своих повелителей и жаждала кровавой мести за их безвременную гибель.

Но самым поразительным, самым странным было лицо этого великана. Оно было старым. Не просто немолодым — древним, как этот мир. Оно всё было изрезано глубокими, как бездонные трещины в высохшей, растрескавшейся земле, морщинами; обветренное до красноты ледяными северными ветрами, опалённое лютой стужей и бесчисленными, жестокими битвами. А глаза, — эти глаза цвета старого, расплавленного золота, в котором плавилась многовековая, нечеловеческая мудрость, — смотрели на окружающий суетный мир из-под густых, нависших, кустистых бровей с усталым, всезнающим, почти божественным спокойствием человека, который видел на своём веку слишком много нелепых, жестоких смертей, чтобы до сих пор бояться своей собственной. В этих тяжёлых, золотых глазах была глубокая, невыплаканная боль, которую невозможно выкричать или выплакать, — глухая, тягучая, ноющая боль, намертво въевшаяся в самое нутро, ставшая частью его существа. И ещё — что-то смутно знакомое, что-то, что заставило сердце Шарита от неожиданности забиться быстрее,

а древняя, веками спавшая в его жилах варварская кровь, доселе дремавшая в тишине, вдруг мощно всколыхнулась, запела, призывая к истокам.

Старый великан неподвижно смотрел на Шарита. Пристально, оценивающе, изучающе. Словно видел его насквозь. Шарит в ответ смотрел на него, не в силах отвести взгляд. И в его напряжённой, молодой груди вдруг что-то остро, тревожно ёкнуло. Не страх, нет — узнавание. То самое, первобытное, что бывает, когда встречаешь близкого, родственного человека, которого никогда в жизни не видел, но чья горячая кровь течёт в твоих собственных жилах, питая тебя. То самое, что бывает, когда две истерзанные души, разделённые долгим временем и огромным расстоянием, наконец-то находят друг друга, и все невидимые барьеры, разделявшие их, в одночасье падают. То самое, что бывает, когда древняя, как мир, магия крови, дремавшая долгие века, наконец-то пробуждается от тяжёлого, мертвецкого сна и властно шепчет: «Это твой. Это из твоего древнего племени. Это — твой дом, которого ты всегда был лишён».

Шарит никогда в своей жизни не знал, что такое настоящий дом. Может быть, сейчас, в эту самую минуту, он его, наконец, нашёл?

— Садись, малец, — внезапно проговорил гость, и его низкий, раскатистый, как горный обвал, голос, заставил мелко задрожать воздух и заставил умирающий костёр заматываться в испуге. — Нечего маячить перед глазами, мельтешить. Заслоняешь мне весь свет, а он нынче дорог, как никогда. Садись, не стесняйся, поговорим по-свойски.

Шарит молча сел напротив, на толстый, поваленный бурей ствол, густо покрытый изумрудным, живым мхом. Опытные солдаты за его спиной, не расслышавшие разговора, но кожей почуявшие неладное, напряжённо замерли, положив руки на рукояти мечей, но он едва заметным, властным жестом приказал оставаться на местах. Его руки, лежащие на коленях, дрожали мелкой, нервной дрожью — не от трусости, нет, а от странного, щемящего, доселе незнакомого предвкушения. Он, сам того не зная, ждал этого момента всю свою недолгую, полную сомнений жизнь. Ждал встречи с кем-то, кто наконец-то расскажет ему правду о матери, которую он потерял ещё в младенчестве.

— Кто ты? — спросил Шарит, и его голос прозвучал неожиданно громко в гнетущей тишине леса, нарушаемой лишь отчаянным треском умирающего костра. Вопрос прозвучал как вызов.

Старый варвар одобрительно усмехнулся, но в этой грубой усмешке, к удивлению Шарита, совсем не было насмешки. В тревожном свете догорающих углей блеснули его крупные, крепкие, как у хищного зверя, зубы — но клыки были чуть длиннее, чем у обычного человека, и хищно заострены на концах. В этой недоброй усмешке было что-то звериное, древнее, первобытное. Что-то от огромного лесного медведя, который только прикидывается мирно спящим, но в любую секунду готов яростно встать и сокрушить любого, кто посмеет потревожить его покой.

— Не узнаёшь? А очень зря, малец. Моя древняя кровь в тебе течёт, бурлит. Через твою мать, царствие ей небесное. Через Хириту. Ту самую, что подарила тебе жизнь и умерла в страшных муках, чтобы ты, неблагодарный, жил.

Шарит вздрогнул всем телом, и внутри него, в груди, что-то болезненно оборвалось, упало в пустоту. Имя матери он слышал за свою жизнь так редко, что оно всегда звучало для

него, как чужая, незнакомая молитва. Слишком больно было его отцу, Дараду, даже вспоминать о ней вслух. Вальтера, хоть и была ему заботливой мачехой, изредка упоминала прошлое, лишь когда считала, что он уже достаточно взрослый, чтобы знать правду, но никогда не вдавалась в тягостные подробности. В пыльных, старых архивах дворца, в пахнущих вековой плесенью и мышами свитках, о Хирите было всего несколько сухих, бездушных, казённых строк: «Хирита из сурового племени Бронзового Медведя. Варварка, каких мало. Погибла при тяжёлых родах, подарив Империи сына, наречённого Шаритом».

Всё.

Ни живого лица, ни звонкого голоса, ни счастливых воспоминаний. Только холодное имя на пожелтевшем, ломком, как сухой лист, пергаменте и глухая, ноющая, никогда не проходящая боль, которую его могучий отец-дракон молча носил в своей груди, как тяжёлый камень на шее, как древнее проклятие, как вечное, леденящее душу напоминание о том, что настоящее счастье в этом мире может быть лишь одним, коротким, как вздох, мгновением, за которое неизбежно следует расплата. Шарит много раз пытался представить её в своём воображении — высокую, сильную, с бронзовой, обожжённой солнцем кожей, как у него, и длинными, густыми волосами цвета тёмной, старой меди. Иногда, в редкие, короткие, драгоценные мгновения между сном и явью, к нему приходил туманный призрак: молодая женщина, чьё родное лицо безнадежно расплывалось, как отражение в мутной болотной воде, тихо пела ему на ухо странные колыбельные на незнакомом, гортанном языке, полном рычащих, низких согласных, и невесомо гладила его по голове холодными, чужими, незнакомыми руками. Он просыпался с солёными, горячими слезами на щеках, но никогда, даже напрягая память, не мог вспомнить ни её дорогих черт, ни красивой мелодии.

— Ты знал мою мать? — едва слышно, почти беззвучно спросил он.

— Знал ли я её, малец? — Старик снова хмыкнул, и его чудовищной ширины грудь тяжело вздыбилась. Он резко, всем телом подался вперёд, и жаркое пламя умирающего костра отчаянно заметалось, тревожно зашипело от его горячего, как драконье дыхание, а зловещие тени на колышущихся стенах из голых, корявых деревьев заматались в бешеном, безумном танце. — Да я её растил, малец! Я собственноручно пеленал её, свою кровиночку, когда она родилась в лютую снежную бурю, такую страшную, что старые, мудрые волки от ужаса выли на луну и жались к человеческим жилищам. Я собственными руками учил её держать тяжёлую боевую секиру, когда ей было всего три годика от роду, и она звонко плакала от обиды и усталости, но не выпускала скользкую рукоять. Я, старый воин, плакал в одиночестве, когда её, мою кровинушку, насильно забрали в ваш... драконий замок, за высокие, неприступные стены, к этим холодным, чужим, серебряным драконам. А когда страшная весть пришла, что она не вернётся домой, что её больше нет, что она умерла, рожая тебя, безродного... — его зычный, могучий голос вдруг надрывно дрогнул, а в золотых, выцветших глазах, не привыкших к слабости, предательски блеснула мутная, тяжелая влага. — Я выли на холодную луну три долгие, бесконечные ночи, малец. Три ночи кряду. Так громко и страшно, что волки в радиусе сотни лиг подхватывали мой тоскливый вой и выли вместе со мной, а беспечные лесные птицы падали с неба замертво, не в силах вынести этой всепоглощающей, звериной тоски.

Он замолчал, вытирая рот тыльной стороной огромной ладони, и в леденящей тишине, вдруг повисшей над догорающим костром, над уснувшим лесом, над всем огромным, холодным миром, Шариту вдруг отчётливо почудился далёкий, протяжный, леденящий душу вой. Или это тяжёлый ветер, набирая силу, завывал в далёких, неприступных скалах? Или это древ-

няя, спавшая веками варварская кровь громко запела в его жилах, властно призывая его к священным истокам? Вой этот был глубоко печальным — не злым, не кровожадным, а невыразимо, беспросветно тоскливым, как плач по тому, что потеряно навсегда и никогда, слышите, никогда не вернётся, как не вернуть ушедшее время.

— Ты мой... дед? — спросил Шарит одними губами, и это простое, живое слово показалось ему чужим, горьким, тяжелым на прикушенном языке.

— Фарг, — старик коротко, по-военному, стукнул себя мощным кулаком в широкую, как кузнечный мех, грудь, и звук этого удара был подобен оглушительному удару в боевой барабан, от которого испуганно вздрогнули даже те, кто стоял на почтительном отдалении. Его огромный, как молот, кулак был весь покрыт старыми, давно зажившими, но от этого не менее страшными, рваными шрамами. — Фарг, из великого племени Бронзового Медведя. Вождь. Оборотень, мать его. Твой родной дед по материнской линии, каких поискать. А ты, стало быть, Шарит. Хиритин долгожданный сын. Драконье проклятое отродье с живым, горячим сердцем настоящего варвара.

Он пристально смотрел на своего внука с такой животной, всепоглощающей жадностью, с такой невысказанной, выстраданной годами одиночества тоской, что Шариту вдруг стало не по себе, душно. Будто этот старый, битый воин пытался за один этот бесконечный взгляд жадно впитать в себя все долгие годы, что они не виделись, все потерянные мгновения, все произнесённые слова, всю ту любовь, что некуда было деть. Будто отчаянно, по— звериному, боялся, что Шарит сейчас исчезнет, навсегда растает, как призрачный утренний туман над холодным озером, стоит ему только отвести ненадолго свой тяжёлый взгляд.

— Почему ты не приходил раньше? — с горечью спросил Шарит, чувствуя, как в его голосе невольно проступает обида, копившаяся годами. — Почему только сейчас, когда война почти на пороге и Тьма, что спала всё это время, снова тревожно шевелится?

Фарг мгновенно помрачнел лицом, тяжело, всем телом. Его суровое, грубое лицо, ещё секунду назад полное чувств и жизни, вдруг мгновенно осунулось, будто постарело на тысячу лет. От него, от этого лица, будто отхлынула вся кровь, и Шарит вдруг, с леденящей ясностью, увидел, как он стар. И как невыносимо, смертельно устал. Под его глубоко посаженными, мудрыми глазами залегли глубокие, почти чёрные тени — не простые тени усталости, а тёмные провалы, в которых, казалось, навечно застряли все печали его долгой, полной потерь жизни. Его мощные плечи, ещё недавно такие могучие, заметно поникли под тяжестью тяжкого, невидимого глазу груза. В его тяжёлом, шумном дыхании ясно слышалась лёгкая хрипотца — не обычная простуда, а старость. Та самая, беспощадная, когда даже самые негибачаемые, крепкие воины начинают понемногу сдавать, когда старые, ноющие кости начинают предательски ныть перед бурей, а когда-то могучее, железное сердце начинает предательски пропускать тревожные удары.

— Не мог, — коротко, отрывисто бросил он, и его густой голос заметно сел, стал тише, глуше, как у человека, который слишком долго молчал, копил в себе боль. — Законы, малец. Ваши дурацкие драконьи законы, которые делят наш мир на «чистых» и «нечистых», как на бойне. Ваши эльфийские, лживые договоры, что рисуют новые границы на географической карте, а в живых людских душах разверзают пропасти. Нас, северных дикарей, издавна считали недоумками, нелюдями, недостойными даже жалкого упоминания в ваших раздутых хрониках. Дарад, царствие ему небесное в его долгой жизни, однажды увидел мою дочь и захотел её,

потому что она была красива и неукротима, сияла, как полярное сияние, на которое молятся. Сказал, что полюбил. А нас... нас всех просто нагло стёрли из вашей драгоценной памяти. На обоих. Как будто нет такого древнего, славного племени — Бронзовый Медведь. Как будто мы не гордые люди, а лесные звери, которых и именами-то нарекать не принято.

Горечь в его усталом голосе была такой острой, такой едкой, пронзительной, что Шарит почувствовал её почти физически, всем своим молодым, чувствительным телом — она больно царапала пересохшее горло, обжигала глаза, ледяной, безжалостной рукой сжимала сердце. Он вдруг остро, почти до физической боли, осознал, что его мать была не просто «варваркой», пустым звуком, который можно забыть. Она была чьей-то горячо любимой дочерью, чьей-то заветной надеждой, чьей-то великой гордостью. Она была беззаветно любима. И её страшная, безвременная смерть оставила глубокие, незаживающие, вечно кровоточащие шрамы не только на почерневшем от горя сердце отца-дракона, но и в истерзанной душе этого старого, хмурого, смертельно одинокого воина, который так и не смирился, не смог смириться с утратой.

— Но сейчас ты пришёл.

— Сейчас я пришёл, — мрачно подтвердил Фарг, и его тяжелый голос неожиданно обрёл былую, гранитную, нестигаемую твёрдость. — Потому что ваши проклятые проблемы, драконьи проблемы, выползли, наконец, к нам на Север. Эти... — он с гримасой отвращения скривился, тщетно подбирая подходящее слово, но не найдя более крепкого, — ...мотыльки. Крылатая, наглая мелочь, которая даже не представляет, что такое настоящий, лютый, пробирающий до костей холод. Они безнаказанно шалят в наших Священных Чертогах, под нашими древними, святыми горами.

Шарит настороженно нахмурился, не понимая.

— Феи? У нас, на далёком голодном Севере?

— А ты, наивный, идиот, думал, они только в ваших расфуфыренных барских лесах сидят, пылью дорогой торгуют налево? — Фарг зло, от души выругался и смачно, с громким звуком сплюнул сквозь зубы прямо в жаркий костёр, и без того тревожное пламя злобно зашипело, выбрасывая в чёрное, глубокое небо густой, чёрный, маслянистый столб удушливого, тяжелого дыма. Дым этот, тяжёлый и едкий, пах не просто прогорклым, горелым деревом — а чем-то иным, зловещим, потусторонним. В нём ясно чувствовалась сера — та самая, что обильно исходит от распахнутых порталов Тьмы и от давно остывших, гниющих тел павших воинов-Стражей. — Они везде, малец. В этом проклятом году особенно. Молодняк, глупый, как осенние зайцы, что лезут прямо в голодную волчью пасть, шлятся где не просят. В наших священных пещерах свои шабаши устраивают, оскверняя древние камни своим колдовским светом. В жертвенных чашах голыми купаются, гадят в святую воду, которую мы веками для обрядов освящали. Священных воронов наших безнаказанно дразнят, стреляют в них из рогаток, камнями кидают.

Он зло замолчал, не в силах продолжать, и медленно, с глухим, зловещим хрустом сжал свой огромный, волосатый кулак. В гнетущей тишине ночи Шарит ясно услышал, как жалобно хрустнули его костяшки — сухой, отвратительный, леденящий душу звук, похожий на треск сухих, ломких веток под ногой. Этот звук безошибочно говорил о сдерживаемой, клокочущей в груди, древней, животной ярости.

— Долго терпели мы, малец. Скрепя сердце. Думали, дураки, перебесятся, угомонятся и улетят обратно в свои леса, к своим хвалёным эльфам. Но они, проклятые, не улетают. Они нагло селятся у нас. Они уже под святыми горами построили какое-то своё поганое гнездо, сплели паутину из липких теней. А вчера... — суровый, могучий голос вождя надрывно дрогнул, и в нём впервые за весь разговор проступило нечто, похожее на животный, первобытный страх. Не трусость, нет — старый, битый Фарг никогда трусом не был, он через многое в жизни прошёл. Страх за свою кровь. Страх за соплеменников. Древний, животный страх, который порой оказывается сильнее любой гордости и любой ярости. — Вчера они злые напали на наш спящий лагерь. Украли ребёнка.

Шарит вздрогнул, почувствовав, как ледяной, липкий страх пронзил его внутренности. Он подался вперёд, не веря своим ушам.

— Забрали? Как — забрали? Прямо из охраняемого лагеря? Среди бела дня? — голос его, обычно спокойный и ровный, сорвался на хрип.

— Мальчишку. Семи весен от роду, — Фарг смотрел куда-то в темноту, за спину Шарита, и его золотые глаза, казалось, видели то, что было скрыто от всех остальных. — Сына моего младшего, Лютобора. Играл на закате у самой кромки леса, собирал в банку глупых светлячков — и в один миг пропал, словно сквозь сырую землю провалился. Волки, наши верные братья, не нашли даже следа — только удушливый запах его животного страха, который уже начал выветриваться. Вороны с высокого неба не увидели — хитрые тени заслонили их зоркие глаза. Только старая Литра, бабка твоя, нерпа наша священная, в студёную прорубь нырнула и... — он мучительно замолчал, сжав челюсти так, что желваки заходили под старой, обветренной кожей, — и вынырнула обратно с истошным криком. Таким, что даже камни задрожали.

— И что она сказала? Что именно она увидела там, в глубине? — Шарит схватил деда за рукав, вцепившись в грубую шерсть с такой силой, что побелели костяшки.

Фарг медленно, будто нехотя, перекрестился странным, древним варварским жестом, коснувшись поочерёдно лба, широкой груди и обоих могучих плеч. Жест этот был полон такого глубокого, первобытного суеверного ужаса, что Шарит, воспитанный в холодном рационализме императорского двора, вдруг остро, до тошноты, почувствовал всю нездешнюю, леденящую жуть происходящего.

— Сказала, что под студёной водой, в самой глубокой, тёмной бездне, куда даже животворящий солнечный свет не проникает, она увидела тени. Крылатые, чёрные тени, что утаскивают беззащитных детей вниз, под древние корни, в вечную тьму. Не в наш мир, малец, — в другой. В тот, о котором молчат даже эльфийские летописи.

Шарит похолодел внутри, до самых костей.

Крылатые тени под тяжёлой, свинцовой водой. Страшно пропавшие дети. Непроглядная темнота под многовековыми корнями Мирового Древа. Всё это, словно куски мозаики, складывалось в единую, чудовищно пугающую картину, от которой хотелось зажмуриться, но нельзя.

Слова старого, мудрого фея Дубло, которые Шарит, сам того не ведая, однажды подслушал на закрытом Совете, ещё не долетели до его напряжённого сознания. Но древняя, как мир, варварская кровь, громко закипевшая в его жилах, уже забила тревогу. Она глухо, настойчиво

шептала ему правду, которую не могла подтвердить никакая, даже самая сильная логика. И вдруг, на одно ослепительное, невыносимо яркое мгновение, он ясно, как наяву, увидел то, что скрывалось под тяжёлой толщей беспокойной воды, под медленными, ленивыми течениями. Не просто бесформенные тени — лица. Бесчисленные детские лица, искажённые беззвучным, застывшим криком, с широко распахнутыми, полными нечеловеческого ужаса глазами, в которых навеки застыли крупные, светящиеся слёзы. У каждого за спиной — сложенные, как у сломанных кукол, крылья. Но не светлые, золотистые или радужные, как у лесных фей, которых он изредка видел при дворе. Чёрные. Как обожжённая, осыпающаяся бумага. С рваными, обугленными краями. И глаза — пустые, без намёка на зрачки и белки, смотрящие прямо на него, на Шарита, сквозь ледяную толщу воды и само время. Яркое, пугающее видение длилось лишь одно короткое, звенящее мгновение. А потом безжалостно исчезло, оставив после себя лишь давящий, ледяной холод в груди и жгучую, невыносимую, как отраву, уверенность: он должен идти. Должен помочь этим детям. Не может, не имеет права остаться в стороне.

— Дед... — выдохнул Шарит, и это слово — простое, тёплое, человеческое — вырвалось из него само собой, без спросу, без малейших колебаний. — Я пойду с тобой на север. Немедленно. Мы отыщем мальчика и всех остальных... Вместе мы сильнее. Я обязательно помогу, чем смогу.

Фарг, прищурившись, смотрел на него долгим, испытующим, почти недоверчивым взглядом. Словно оценивал, взвешивал, хватит ли у этого юного, тощего, по варварским меркам, принца сил и, главное, нестигаемого духа. Потом старый вождь медленно, со смачным хрустом в старых суставах, поднялся во весь свой исполинский рост, заслонив широкой спиной полнеба.

— Тонковат ты великоват, малец, — проговорил он наконец, и в его голосе, несмотря на суровость, слышалась странная, пугающая смесь гордости за внука и глухой, животной тревоги за его судьбу. — Весь в отца пошёл — драконья холёная стать, эльфийская изнеженная утончённость, почти девичья. Но глаза... глаза у тебя — Хиритины. Материны. Упрямые, как дамасская сталь, и горящие, как раскалённые, добела угли.

Он осторожно положил свою тяжёлую, шершавую, как кора тысячелетнего дуба, ладонь на плечо Шарита. И принц едва устоял на онемевших ногах, чувствуя, как мёрзлая, каменистая земля под его подошвами медленно, но верно проседает под этим нечеловеческим, колоссальным весом. Вес Фарга был не просто физическим — в нём, в этом весе, жила и дышала древняя, первозданная сила. Сила огромного, разбуженного ото сна медведя-шатуна, едва стиснутая в подобие человеческого тела. Сила, способная одним ударом расколоть гору, но железной волей сдерживаемая в узде.

— Ладно, малец, — Фарг медленно убрал руку и решительно махнул ею куда-то в сторону, на далёкий, почти невидимый север. — Идём. Бабка твоя старую видеть тебя хочет. Литра. Она старая, мудрая, видит то, что скрыто. Может стать, подскажет, как этих... — он опять болезненно скривился, — ...мотыльков из наших исконных земель выкурить навсегда. А заодно уж расскажет тебе то, что ты, по праву крови, должен знать о нашей семье.

Северные Чертоги встретили их не гнетущей, леденящей тишиной, а живым, дышащим, пульсирующим в такт древним ритмам Холодом.

Земли воинственного племени Бронзового Медведя, раскинувшиеся среди суровых, неприступных скал, ничуть не походили ни на что виденное избалованным Шаритом прежде. Здесь не было изящных, ухоженных, как парки, эльфийских рощ, где каждый расписной листик, словно по струнке, знал своё строгое место, а тенистые тропинки были усыпаны ароматными, свежими лепестками. Не было драконьих дворцов из белого, сияющего, как первый снег, камня, чьи тонкие, ажурные шпили, пронзали низкие облака, вызывая у смертных благоговейный трепет и зависть. Здесь, на севере, всё было суровым, настоящим, не терпящим лжи первобытным — живущим, дышащим той древней, неукротимой, хаотичной силой, что была здесь задолго до того, как первые эльфы научились членораздельно говорить, а могущественные драконы — подниматься в небо.

Гигантские, древние сосны, чьи иссохшие, покрытые лишайником стволы уходили в низкое, серое небо так невероятно высоко, что их смолистые, пахнущие веком макушки терялись в густых, свинцовых облаках. Казалось, эти деревья, словно пальцы гиганта, больно царапают саму твердь небесную, оставляя на ней невидимые, но глубокие, кровоточащие царапины. Мощные стволы их были толщиной в три обхвата взрослого, здорового мужчины, и грубая кора, покрытая глубокими, как старые шрамы, трещинами, была густо испещрена таинственными рунами. Не вырезанными искусными эльфийскими резчиками — а выжженными самой древней, дикой, не знающей границ магией. Может быть, разбушевавшейся молнией, может быть, всепожирающим огнём, некогда сошедшим с самого неба. Это были священные знаки, страшные и прекрасные: эти исполинские деревья воочию видели рождение и мучительную смерть многих богов.

Меж их могучих, раскидистых стволов стлался по земле густой, знобкий, едва рассеивающийся даже в полдень туман. Молочный, плотный, почти живой и осязаемый. Он не просто безжизненно лежал на пожухлой, давно не знавшей тепла траве — он жил, тяжело дышал, медленно перетекая с места на место, как тягучая, густая вода в беспокойном, штормящем море. В этом вековечном тумане, в самой его холодной глубине, неясно угадывались чьи-то тревожные, настороженные тени. Они бесшумно двигались — плавно, текуче, не принадлежа ни одному из известных Шариту живых существ.

Волки.

Огромные, с хорошего пони ростом в холке, с густой, чёрной, как смоль, свалывшейся шерстью, и глазами, горящими в сырых сумерках холодным, хищным, жёлтым огнём, они настороженно сопровождали путников всю долгую, изнурительную дорогу. Не приближаясь к кострам, не принимая подачек, но и не отставая ни на один тревожный шаг. Их тяжелое, ровное дыхание не было слышно. Их сильные, мускулистые шаги были неестественно легки, невесомы, несмотря на чудовищный вес этих первобытных хищников. На широкой, мощной груди каждого из них белело приметное пятно в форме аккуратного полумесяца — священный знак того, что эти волки не простые, не дикие звери, а перевёртыши, древние, искусные воины, верные хранители той самой древней крови, что текла в жилах его сурового, молчаливого деда Фарга.

Фарг иногда перебрасывался с вожаками стаи парой гортанных, низких, полных скрытого смысла звуков — не слов, а скорее звериного, интимного рыка, глубинных вибраций, понятных лишь тем, в ком текла кровь зверя. И волки отвечали ему коротким, горловым, понимающим рычанием или тоскливым, леденящим душу воем, в котором слышалось нечто большее, чем просто звериный язык.

«Братья наши», — сказал тогда, перехватив взгляд внука, Фарг. «Не простые звери, а такие же воины, как мы. В сече могут в любой миг перекинуться, коли надо. Волчья стая, малец, страшнее любой кавалерии, ибо они едины, как кулак. Они чуют лютый страх за версту, и обиды помнят до седьмого колена. Не переходи им, ради богов, дорогу, не то пеняй на себя».

На коротких, изнурительных привалах и днём, и ночью к усталым путникам бесстрашно спускались огромные вороны. С металлическим, густым сине-зелёным отливом перьев, красиво переливающихся на ледяном солнце, как воронёная, драгоценная сталь. Они тяжело, похозяйски, садились на могучие плечи старому Фаргу, их острые, цепкие когти оставляли на грубой коже его походного плаща глубокие, кровоточащие царапины, и что-то таинственное, неведомое нашёптывали в самое ухо, кося при этом на Шарита умными, немигающими, глубокими, бездонно-чёрными глазами. Фарг хмурился, озабоченно кивал, иногда издавая гортанные, пугающе-каркающие звуки, похожие на воронью речь.

«Глаза нашего Леса», — пояснил он. «Видят всё, что творится за много миль отсюда. Слышат каждый, даже самый тихий шорох. Рассказывают вождю, что на самом деле творится в этом мире, какую паутину плетут враги».

— И что они, эти «глаза», говорят сейчас? — спросил Шарит, с замиранием сердца следя, как вороны, закончив свой таинственный, полный скрытых смыслов разговор, тяжело, нехотя срываются с плеч деда и, громко каркая, исчезают вдаль.

Фарг глубоко нахмурился, и без того глубокие морщины на его лбу стали ещё глубже, превратившись в чёрные, страшные пропасти. Его золотые, затуманенные временем глаза вдруг тревожно потемнели, стали серыми, как осеннее, хмурое небо над холодным, бушующим океаном.

— Говорят, беспокойно нынче в Лесу Предков. Ой, беспокойно. Говорят, старый, дряхлый фей Дубло с кем-то говорил в полночь, у самых корней. С кем-то, кого зоркие вороны не видят, но отчётливо чувствуют — вражьи духом поганым, за версту несёт падалью и древней, как мир, злобой. Говорят, пахнет там... гнилью. Древней, застарелой. Не той, что от мёртвого зверя, а той, что от того, кто умер несметно давно, но упрямо не хочет уходить в небытие, и гниёт медленно, мучительно, заживо, отравляя всё вокруг.

Шарит невольно поёжился, вспомнив свои собственные ночные страхи у одинокого, гаснущего костра — те самые, липкие, что мучили его, не давая спать и заставляя вслушиваться в гулкую, полную невыразимых звуков тишину леса. Тишину, которая, как он теперь понимал, была наполнена голосами иных, неведомых миров.

— А о пропавших детях? О том мальчике — что говорят вороны?

Чёрные вестники тревожно, надрывно закаркали, забив широкими, сильными крыльями, и в их встревоженном карканье, обычно резком, пугающем, сейчас отчётливо слышался плач — высокий, надрывный, полный с трудом сдерживаемой животной боли. Фарг ещё больше помрачнел лицом, и его голос упал до едва слышного, полного отчаяния шёпота.

— О детях они вообще молчат, — сказал он, и Шарит вдруг с леденящей ясностью понял, что это молчание страшнее любых слов. — Не видят их, малец. Совсем. Пропали они из этого мира... словно их и не было никогда.

Становище открылось им на холодном, пронзительном закате.

Поселение раскинулось в просторной, защищённой от ветров долине, зажатой меж двух пологих, поросших корявым, низкорослым лесом холмов, у самого подножия гигантской, отвесной, как стена, скалы. С её вершины, с оглушительным, вековечным грохотом, низвергался вниз огромный, полноводный водопад. Он был поистине величествен — его белая, клубящаяся, бурлящая вода падала с невероятной высоты в добрую сотню локтей, разбиваясь на дне о камни в миллионы мельчайших, переливающихся брызг, которые в лучах холодного, равнодушного заходящего солнца неожиданно превращались в ослепительную, пульсирующую живыми красками радугу.

Но эта вечно мерцающая радуга была особенной. Не такой, как в благословенных, южных землях. Она имела все привычные человеческому глазу семь цветов, но... среди них напрочь отсутствовал красный. Самый живой, самый тёплый цвет жизни и крови исчезал, безжалостно выпадал из яркого спектра, словно сама суровая природа этого сурового места навсегда отказалась от крови, что пролилась здесь в незапамятные времена. Мудрые старики в племени говорили, что под этим священным водопадом похоронен древний, могучий герой, что беззаветно пожертвовал собой, чтобы в одиночку остановить нашествие Тьмы, и его горячая кровь до сих пор медленно сочится из древней скалы, невидимо окрашивая в кровавый цвет воду, но невидимая для обычных, незрячих глаз.

Добротные, на совесть срубленные дома, сложенные из огромных, грубо отёсанных, пахнущих смолой брёвен, с высокими, островерхими крышами, густо поросшими зелёным, сочным мхом, стояли не в беспорядке, как это обычно бывает у людей, а строгим, правильным кругом, образуя древнее, магическое защитное кольцо от злых сил. В самом центре этого круга, на широкой, утрамбованной тысячами ног площадке, днём и ночью горел огромный, священный костёр. Но его высокое, жаркое пламя было не привычным оранжевым, как у обычных мирных костров, а странным, мистическим, синеватым. Словно внутри горело не просто сухое, собранное по веткам дерево, а что-то иное, нездешнее — возможно, сама древняя, первозданная магия, навеки вплетённая в это святое место тысячелетиями молитв и жертвоприношений.

Шарит знал такие костры по древним легендам. Их издавна зажигали лишь в самых священных местах силы, там, где горячая кровь легендарных предков смешивалась с самой землёй, где давно усопшие и ныне живущие становились единым, неразрывным целым. От этого древнего, полного тайн костра веяло не только живительным теплом для замёрзших путников — но и силой. Необъятной, пугающей своей первозданностью.

Шарит остро, каждой клеткой своего молодого, чуткого тела, чувствовал эту дикую магию. Древнюю, намного старше эльфийской или драконьей. Первозданную, неукротимую, не признающую над собой никакой власти. Магию тех гордых, кто никогда не подписывал трусливых Пактов, не давал постылых клятв на верность Великой Империи, не признавал власти богов над своей волей. Магию, которая хорошо помнила далёкие времена, когда этот холодный мир был молод и полон опасных, неизведанных чудес, когда каждый, даже самый маленький камень был живым, а каждый порыв ветра носил имя бога. Она была тёплой, как доверчивое

дыхание лесного зверя, и по-настоящему живой, как лесной говорливый ручей, бегущий среди замшелых камней.

В центре шумного становища, у самого большого, богато украшенного резьбой дома, неподвижно стояла одинокая фигура.

Женщина.

Нет. Не женщина в привычном понимании.

Нерпа.

Огромный, старый тюлень с серебристой, красиво переливающейся в лучах заходящего солнца короткой шерстью неподвижно сидел на широком, плоском, отполированном до зеркального блеска веками камне у самого края шумящего водопада. Его огромные, глубокие, влажные глаза — чёрные, как сама бездна, — пристально смотрели на медленно приближающихся путников с нечеловеческим, леденящим пониманием. В этих пристальных, полных мудрости глазах, тёмных и непостижимо глубоких, как омут, была сама Древность — такая глубокая, такая первозданная, что у Шарита, засмотревшегося, невольно закружилась голова. Словно он пристально смотрел в глаза самой Вечности, и безжалостная Вечность пристально смотрела на него в ответ, оценивая, взвешивая, решая его нелёгкую, полную испытаний человеческую судьбу.

Когда Шарит, робея, подошёл чуть ближе, древняя нерпа бесшумно, одним текучим движением скользнула в ледяную, бурлящую воду и бесследно исчезла в клубящейся белой пене у самого подножия водопада, не оставив на поверхности воды даже лёгких кругов. А через короткое мгновение из мельчайшей, алмазной водяной пыли, из самой радуги, распавшейся на миллионы сверкающих капель, бесшумно вышла женщина.

Она была прекрасна той странной, нечеловеческой, потусторонней красотой, которая вовсе не принадлежит миру живых — красотой снов, красотой ярких видений, красотой того, что может существовать лишь на самой тонкой, едва уловимой грани между явью и полным забвением.

Высокая, статная, с неестественно прямой спиной. С длинными, белыми, как самый чистый, не тронутый снег, волосами, в которые, словно живые драгоценности, были искусно вплетены тускло мерцающие нити чёрного и серебряного речного жемчуга — настоящего, живого, добытого в самых глубоких, самых холодных озёрах, куда не ступала нога человека. Крупные жемчужины, размером с доброе голубиное яйцо, тускло мерцали в её волосах своим холодным, потусторонним светом. Её бледная, почти прозрачная кожа имела странный, перламутровый, живой отлив, как у существ, что живут одновременно в двух стихиях — на самой границе ледяной воды и разреженного воздуха, никогда не принадлежа полностью ни одной из них. А глаза её — те самые, тюленьи, огромные, бездонно-тёмные — в них в этот час отражалась не только холодная, равнодушная луна, уже поднявшаяся над зубчатым горизонтом, но и сама Вечность со всеми её тайнами, и все незримые нити людских судеб, которые она, древняя ведунья, умело переплетала по своему усмотрению.

На женщине не было привычной одежды — только её длинные, струящиеся, как водопад, волосы, прикрывающие стройное тело, да прозрачная, сверкающая вода, тысячами серебря-

ных, живых струй стекающая по нему прямо на землю. Она была живым воплощением самой суровой, могучей северной стихии.

Она тихо приблизилась к Шариту, не обращая ни малейшего внимания на застывшую в отдалении вооружённую толпу, на вставшего рядом с внуком хмурого, оберегающего Фарга, на замерших в почтительности воинов. Остановилась всего в двух шагах и замерла, глубоко, изучающе вглядываясь в его лицо. Так пристально, до боли смотрят только на того, кого терпеливо ждали всю свою долгую, полную одиночества жизнь, но уже и не надеялись никогда увидеть. В её глубоком, пронзительном взгляде смешались воедино и живое любопытство, и древняя, застарелая боль, и странная, щемящая, почти материнская нежность.

— Хирита... — тихо, одними губами, прошептала она голосом, похожим на мерный, убаюкивающий шум далёкого прибоя — тихим, но полным древней, неодолимой, всеокрушающей силы. — Твои родные глаза... твои волосы... твоя гордая, свободная душа смотрит на меня из твоей оболочки.

— Я — Шарит, — тихо сказал он, чувствуя, как к пересохшему горлу медленно подступает тугой, горячий, непроглотимый комок. — Сын Хириты. Ваш... внук.

Литра печально, но светло улыбнулась ему, и в этой немного болезненной, странной улыбке было вдруг столько всего и сразу: выстраданная боль, долгожданная радость, столько безвозвратно прожитых лет и потерянных, разбитых надежд, что Шарит невольно, словно подчиняясь чужой воле, сделал шаг ей навстречу, чувствуя, как его неодолимо, мощно влечёт к этой странной, древней женщине какая-то необъяснимая, древняя сила.

— Знаю, кровинушка, — она протянула свою тонкую, почти прозрачную руку и невольно, боязливо коснулась его шершавой щеки. Её длинные, бледные пальцы были ледяными, влажными, пахли свежей речной водой и болотной тиной, но само прикосновение оказалось неожиданно нежным, успокаивающим — как мягкий, тёплый летний ветер, нежно сдувающий пыльцу с лепестков, как долгожданное материнское благословение после долгой разлуки. И в этом простом, человеческом прикосновении Шарит вдруг остро почувствовал всё. Всю ту боль, которую она, эта древняя, как мир, женщина, молча носила в своём сердце долгие, долгие годы. Всю ту выстраданную надежду, которую не теряла, даже когда хрупкий мир рушился на глазах. Всю ту огромную, нерастрченную любовь, которую некогда было подарить, и которая годами копилась в ней, как чистая вода в глубоком, подземном озере.

— Ты пришёл в очень плохое время, дитя, — проговорила она, и её голос вдруг стал серьезнее, суровее, в нём зазвенела холодная, как сталь, решимость. — Тьма, что спала веками, снова поднимается из глубин. Старые, давно забытые враги потихоньку выползают из щелей, ведомые слепой, всепоглощающей ненавистью. А ты, Шарит... ты на их тёмном пути, даже пока не ведая об этом. Ты — тот самый ключ, который они так отчаянно ищут. Или спасение... или гибель. Пока не ясно.

— Я знаю, — твёрдо ответил Шарит, стараясь, чтобы его молодой голос не дрогнул от нахлынувших чувств. — Феи. Пропавшие дети. Тени под водой и под самыми корнями. Я уже знаю достаточно, чтобы твёрдо хотеть помочь.

Литра отрицательно, с горечью покачала головой, и её длинные, белые, как лунный свет, волосы заструились по плечам, зашелестели, как сухая, давно не знавшая дождя трава.

— Ты не знаешь и тысячной доли правды, дитя. Но тебе придётся узнать. И быстро, очень быстро. Потому что тени, о которых ты говоришь, они уже совсем близко, Шарит. Они уже здесь, в этой ночи, вокруг нас, в наших тенях, на стенах, и нетерпеливо ждут только одного — сигнала.

Она медленно, торжественно повернулась к бушующему водопаду и указала на него своей тонкой, как ветка, бледной рукой.

— Смотри.

Шарит послушно посмотрел, куда она указала.

В стремительно падающей, грохочущей воде, там, где белая, бурлящая, яростная пена стремительно смешивалась с первозданной чернотой стремительно наступающей ночи, он вдруг отчётливо увидел лица. Бесчисленные детские лица, искажённые чудовищным, животным страхом, с широко распахнутыми, влажными, безнадежными глазами, в которых навеки застыли крупные, светящиеся слёзы. Крошечные, беспомощные крылья, безвольно сложенные за их спинами. Но крылья были не цветными и радужными, как у беззаботных Лесных фей... чёрными. Обгоревшими, иссохшими, с неровными, словно обгрызанными голодной смертью, краями. И сами глаза, пристально смотрящие на него из самой глубины водяного потока — пустые, без зрачков и белков, ничего не видящие. И голоса... тихие, бесконечные, полные агонии...

Это жуткое, леденящее душу видение длилось лишь одно мучительное, короткое мгновение. А потом шумная вода стала просто водой, и лишь истошный, полный боли крик встревоженного ворона, низко пролетевшего над самыми головами, острым ножом разорвал повисшую гробовую тишину.

— Тени, — едва слышно, одними губами, прошептал Шарит, и его голос был чужим, хриплым, не принадлежащим ему.

— Тени, — как горькое эхо, отозвалась старая Литра. — Те, кто когда-то, тысячу лет назад, не принял предательский Пакт. Те, кто добровольно ушёл во Тьму и сам стал Тьмой. Они наконец возвращаются. И им позарез нужен ключ.

— Ключ?

Литра пристально посмотрела на него долгим, странным, почти болезненно-пронзительным взглядом, и в её чёрных, как ночь, бездонных глазах Шарит вдруг с леденящей ясностью увидел мрачное отражение своей собственной, накрепко сплетённой с чужими нитями судьбы. И этот тяжёлый, полный скорби взгляд в ту же секунду сказал ему больше, чем любые, даже самые красноречивые слова.

— Ты, дитя. Именно ты. Тот самый, кто сплетает воедино разорванные на части нити.

## Глава 4. Сон императора

Империя Дарада. Полночь.

Вальтера сидела над старыми, пожелтевшими картами, разложенными на огромном, дубовом столе в Малом тронном зале. И само время, казалось, медленно, тягуче застыло вокруг неё в свинцовом, зловещем ожидании, с каждой минутой становясь всё более вязким. Оплывшие свечи в массивных, бронзовых, украшенных драконами подсвечниках плавились неравномерно, и застывший воск застывал причудливыми, уродливыми наплывами на дорогом металле, образуя причудливые формы, похожие на больные, застывшие слёзы — слёзы самого беспощадного Времени, вечно оплакивающего навсегда уходящие мгновения. Живые, вампирские глаза Вальтеры, привыкшие к черноте глубже любой человеческой, без труда читали извилистые линии дорог, полноводных рек и горных хребтов, нанесённые на пожелтевший пергамент лучшими картографами Империи ещё во времена её великого основания. Но сегодня старые карты были для неё не просто географическим схемами — они стали болью, исповедью самой земли, обнажённой, израненной.

Каждая линия, каждая сделанная рукой пометка, каждый значок кричали о том, что великая Империя, увы, не готова к надвигающейся буре. Северные, веками считавшиеся неприступными благодаря древним, полузабытым заклинаниям и драконьим патрулям, ныне зияли огромными прорехами, как старая, давно не чищенная, проржавевшая кольчуга, которую давно уже не надевали в бой. Армии, которые по долгу службы должны были стоять на границе в полной готовности, всё ещё медленно, неохотно собирались, утопая в постоянных, изматывающих, бесконечных спорах о том, кто главный, кому и в какой мере подчиняться, чьи приказы исполнять в первую очередь. Драконьи кланы, чья древняя гордость была прочнее любой, самой лучшей стали, с яростью отказывались объединяться под единым командованием, и каждый, мечтая о былой славе, упрямо тянул тяжёлое одеяло на себя. Эльфы, как всегда, медлили, трусливо выжидая, чья возьмёт, прежде чем сделать, наконец, свою ставку и принести клятву. Люди, простые смертные, откровенно боялись — боялись так сильно, что этот вязкий, липкий, как смола, страх пропитал до отравы сам воздух в столице, как зловонный болотный газ.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.